

# ВАЛЕРИЯ ВЕРБИНИНА



**Похититель  
звезд**



Приключения баронессы Корф



Амалия – секретный агент императора

Валерия Вербинина

**Похититель звезд**

«Автор»

## **Вербинина В.**

Похититель звезд / В. Вербинина — «Автор», — (Амалия – секретный агент императора)

ISBN 978-5-699-32841-3

Знаменитый поэт Алексей Нередин отправился на Лазурный Берег поправить здоровье, но размеренное течение жизни в санатории прервали странные события. Сначала у Нередина пропали черновики, потом у французского офицера исчезло письмо, которое он не успел прочесть. А вскоре после этого в санатории произошло убийство – почтенную пожилую даму, любившую сидеть в кресле на берегу, столкнули с обрыва. Все терялось в догадках, и только Амалия, агент особой службы русского императора, поняла: речь идет о тайне государственной важности. И ради того чтобы ее не раскрыли, кто-то готов на любое преступление...

ISBN 978-5-699-32841-3

© Вербинина В.

© Автор

## Содержание

Пролог	5
Глава 1	9
Глава 2	12
Глава 3	16
Глава 4	19
Глава 5	22
Глава 6	26
Глава 7	30
Глава 8	34
Глава 9	37
Глава 10	41
Глава 11	46
Глава 12	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Валерия Вербинина

## Похититель звезд

### Пролог

Они сидели на вокзале. Мимо них катился мутный поток пассажиров первого класса – женщины в шелестящих платьях и легкомысленных шляпках, мужчины, излучающие солидность, чинные дети, горничные с собачками в руках, немолодые дамы, громко переговаривающиеся по-французски. Мария смотрела на шляпки, на длинные, до локтя, перчатки женщин, и сердце ее замирало от восторга. Ах, какая вуалетка с цветными мушками – как смело, как очаровательно! А полосатый турнюр – ведь всем известно, что в мире нет ничего капризнее полосок, но как он сшит, как божественно смотрится, сразу же выделяя его обладательницу среди окружающей толпы!

Мария услышала сухой кашель и оглянулась на брата. Алексей взглядом указал на окно, которое только что открыл высокий благообразный лакей. Его хозяйка, туго схваченная черным платьем монументальная особа, обмахивалась веером и плачущим голосом жаловалась на духоту соседке, худощавой даме с мышиного цвета волосами. Мария покраснела и поднялась с места.

– Я скажу им, – проговорила она и направилась к монументу в черном.

Алексей отвернулся. Кашель все не отпускал его, клекотал где-то в горле, но невероятным усилием поэту удалось справиться с собой. Он не хотел показывать свою слабость, особенно здесь. Суэта и толкотня, царившие вокруг, раздражали его, но еще более раздражали люди. У молодых женщин были лица содержанок, а старые не вызывали ничего, кроме омерзения. Что же до мужчин, то все они чем-то неуловимо походили на его бывшего полкового командира, который всегда жаловался на тяжелые времена, и чем больше он жаловался, тем богаче становился его дом, тем наряднее одевалась его супруга. Алексей ненавидел вспоминать об армии. Он почувствовал, как новый приступ кашля подкатывает к горлу, но тут, к счастью, вернулась Мария. Алексей поглядел на лакея и увидел, что тот закрывает окно.

– Госпожа Садковская просила извиниться, она не знала, что ты болен, – сказала сестра. – Она еще спросила меня, не поэт ли ты Нередин.

– Я надеюсь, ты ей не сказала, кто я? – довольно резко спросил Алексей.

Мария обиженно покосилась на него.

– Нет, Алеша, ну право же...

– Я не желаю ни с кем общаться, – зло выпалил Алексей, и его щеки окрасились кирпичным румянцем. – Сколько раз тебе повторять? Я болен и не хочу, чтобы меня тревожили.

– Я ничего ей не сказала, – пробормотала Мария. Она чувствовала себя виноватой, хоть и не знала, в чем именно ее вина; и все же это неотвратимое, гнетущее ощущение не отпускало ее. Алексей дернул щекой и допил воду из стакана, стоявшего перед ним на столе.

– Да-да, конечно, я понимаю, – саркастически промолвил он. – Я должен делать вид, что ничего особенного не происходит, что моя болезнь – так, досадное недоразумение. Мне полагается улыбаться и заверять всех, что месяца через два-три, самое большее через полгода, все будет в порядке. А между тем я вовсе не уверен, что через полгода не буду лежать в земле, к вящему удовольствию своих наследников.

– Алеша! – Мария была готова заплакать, ее губы дрожали.

– Я вовсе не тебя имел в виду, – устало сказал брат. – Просто у меня нет сил, да и желания, изображать из себя героя. Я очень болен, Маша, и мне не до всех этих глупостей в театральном духе. Легко говорить, что надо быть стойким и терпеливо переносить несчастья, когда сам ты

сыт, доволен и не кашляешь кровью каждый день. Я и сам когда-то думал, что... – Он умолк. – Впрочем, неважно. Теперь все уже неважно.

Алексей ссутулился в кресле и опустил глаза.

«Боже мой, – мелькнуло в голове у Маши, – ведь он меня ненавидит! Он всех нас ненавидит – и меня, и Федора». Федор был ее мужем, и сейчас его полк стоял возле Курска. Он не хотел, чтобы жена уезжала в столицу ухаживать за заболевшим братом, но в конце концов Мария переубедила его. Нет, Федор всегда с пониманием относился к Алексею, просто ему не хотелось отпускать жену. Да и потом, он был уверен, что болезнь Алексея – блажь, пустяк и вообще всему виной петербургский климат, но ежели в столице от каждой простуды «караул» кричать, то голоса не хватит.

Многое бы изменилось, если бы она приехала раньше? «Многое», – сказала себе Маша. Алексей никогда себя не берег, и если бы она заставила его раньше пойти к врачам, то, может быть... может быть... Но что теперь толку гадать, если диагноз – чахотка – уже поставлен и подтвержден, если драгоценное время упущено. И в нынешнем состоянии больного не остается ничего, кроме как поехать на юг Франции, в санаторий, и надеяться, крепко надеяться, что болезнь отступит, что недуг окажется не таким страшным, как они думали, что все каким-то непостижимым образом устроится и ее брат останется в живых. Только останется в живых – о большем Маша не осмеливалась и мечтать. «Я буду молиться за него», – подумала она, и ей стало немного легче.

На сидящих наплыла, щекоча ноздри, волна флердоранжа. Поэт поднял голову. Какая-то красивая дама в сопровождении горничной только что прошествовала к выходу, четверо слуг несли за ней громоздкий багаж. Алексей покосился на Марию. Он не был особым знатоком женской моды, но сейчас его отчего-то резануло, до чего провинциальной кажется его сестра по сравнению с петербургскими вертихвостками. Ах, Маша-Маша, вечно она одевается то в серое, то в черное, немаркое и безвкусное! Хотя он же дал ей деньги, все, что получил от последнего издания «Огненной башни», – огромную сумму, несколько тысяч рублей<sup>1</sup>. Но у нее невыносимая манера все припрятывать, благодарить и уверять, что ей ничего не нужно, что она обойдется. Просто невыносимая! А в конце концов деньги окажутся в руках ее мужа, тупоголового непрошибаемого здоровяка, который тайком просадит их в карты, а жене опять скажет, что неудачно вложил деньги. И Маша снова сделает вид, что поверила, и не станет задавать никаких вопросов. Интересно, как скоро зять спустит наследство Алексея, когда он умрет?

– Ты к нам несправедлив, – тихо проговорила сестра, и Алексей вздрогнул, словно она могла угадать его мысли. – Если бы ты знал, как Федор ценит твои стихи! Он от них в восторге. И, мне кажется, некрасиво...

Маша говорила что-то еще, но Алексей перестал слушать.

Сам-то он отлично помнил, как Федор, тогда еще жених его сестры, с невыносимой фамильярностью спрашивал у него: «Ну, батенька, когда вы бросите заниматься этой чепухой, виршами вашими?» Они все хотели, чтобы он ничем не отличался от прочих; и суровый отец-полковник с тяжелой (о, какой тяжелой!) рукой, и мать, которая почти не разговаривала с родными, только целыми днями читала французские романы, и робкая, всегда со всеми соглашающаяся Маша, и теперь еще этот самоуверенный, чугунолобый тип. И то, что Алексей вопреки всем им добился известности, а затем и большого, настоящего успеха, поразило и озадачило их. И отца, который перестал с ним разговаривать с тех пор, как сын отказался от карьеры военного, и мать, которая всем любопытным отныне со вздохом говорила, что Алексей возгордился и не желает знать родителей, и Машу, которая не знала, как себя с ним держать, и

---

<sup>1</sup> Для сравнения: рабочий или гувернантка получали в описанное время 20 рублей в месяц. (Здесь и далее – примечания автора)

Федора, который прежде в глубине души считал брата жены ничтожеством, что его в принципе вполне устраивало, потому что позволяло воображать себя самого о-го-го каким молодцом. Еще вчера Алексей был хорошо им понятный и, скажем прямо, вполне заурядный человек, член их семьи, а сегодня его портреты печатают журналы, его стихи читают со сцены, и автору прочат славу продолжателя славных поэтических традиций российской словесности, маститые литераторы и литераторы не без таланта пожимают ему руку, зовут собратом, осыпают похвалами... А вслед за славой приходят деньги, вслед за деньгами – женщины. Ах, как судачил в году 1886-м Петербург о его романе с певицей К.! И едва ли не прежде, чем он покупал ей пять дюжин белых роз, которые она любила, весь город уже знал, сколько именно цветов он ей пошлет. И вот все это ушло, и остался только безнадежно больной человек, который едет во Францию умирать...

– Алеша, – проговорила Мария, – ты слышишь меня? Твой поезд сейчас подадут.

Он очнулся от своих невеселых размышлений и сделал попытку улыбнуться. Попытка не удалась.

– Извини. Я думал о...

Сестра положила руку в перчатку на его рукав. Перчатка была залатана, и Алексей разозлился. Боже мой, сколько денег он потратил на эту К., которая обманывала его со всеми антрепренерами, вместо того чтобы помогать сестре! Как легко принимал на веру ее слова «Нам ничего не нужно», отлично зная, что нужно, очень нужно, причем сразу же, сейчас, потому что жизнь уходит, потому что второй молодости не будет, никогда, никогда, как и второй жизни!

– Все будет хорошо, – проникновенно сказала Мария. – Верь мне. Не зря же у доктора Гийоме такая репутация. Он обязательно поставит тебя на ноги.

Алексей не поверил. Он помнил еще, как однажды утром кашлял так страшно, что едва не задохнулся. Но сейчас посмотрел на лицо сестры – и у него не хватило духу разочаровывать ее.

– Я буду писать тебе, – неловко пробормотал он.

Некрасивое лицо Марии осветилось улыбкой.

– Ты мне пришлешь свои новые стихи? Да?

– Обязательно, Маша.

Подошел слуга, напоминая о том, что поезд уже прибыл. Алексей поднялся. В последнее время, когда он вставал с места, у него на долю мгновения темнело в глазах, но сейчас он пересилил себя и улыбнулся. Сестра с тревогой смотрела на него.

– Наверняка там будет ужасно скучно, – проговорил поэт. – И мне придется пить ослиное молоко.

Он искал, что бы такое сказать в прощальные минуты, быть может, самые важные в его жизни, и ничего не приходило ему в голову.

– Ты позаботишься о Трезоре? – наконец спросил он. Так звали его собаку, подарок той певицы, которую он когда-то любил и воспоминание о которой теперь не вызывало у него ничего, кроме горечи.

Мария кивнула:

– Я заберу его домой. Мы уже говорили об этом. Когда ты вернешься, я тебе его отдам.

«Я не вернусь, – обреченно подумал Алексей. – Вернее, вернусь, но то, что вернется, будет уже не я».

Он закашлялся и, опираясь на руку сестры, медленно зашагал к выходу из зала ожидания первого класса. Монументальная дама в черном прервала животрепещущий разговор о театральных премьерах, недавнем затмении, смерти богемского кронпринца Руперта и непокорном молодом поколении, чтобы проводить Алексея пристальным взглядом.

– Как хотите, – сказала она худощавой даме, – но готова поклясться, что это именно Нередин. Я его видела однажды в опере, и вы знаете, рядом с ним была такая особа... Ни за что я бы не хотела оказаться на ее месте! Про нее такое говорят...

Худощавая дама механически кивнула, а про себя подумала, что если бы даже ее собеседница очень захотела, то все равно не смогла бы занять место К.

– Что-то он неважно выглядит, – заметила она.

– И не говорите! Вы тоже заметили? – подхватил «монумент». – Ходили слухи, он дрался из-за нее на дуэли. Вот я и думаю, что даром для него это не прошло, хоть он и бывший офицер... А вы читали его стихи? Я его «Северные поэмы» просто обожаю! – И без перехода: – Интересно, что за дама была с ним? Сама с обручальным кольцом, а он не женат...

Так под аккомпанемент толков и досужих сплетен продолжатель поэтических традиций нашей словесности уезжал из России. Впереди, впрочем, его ждали куда более интересные события, чем он мог себе вообразить.



## Глава 1

Перестук колес. Свист пара из трубы локомотива.

– Остановка десять минут! Буфет!

Но ему не хочется ни пить, ни есть, и даже название станции ничуть не интересно. Просто глупый перрон, по которому ходит глупый важный жандарм, суетятся носильщики и снуют бестолковые пассажиры. А в окне зала ожидания сидит пестрая кошка – вся в бело-рыже-черных пятнах – и с любопытством смотрит на поезд. Тяжелая дрема наваливается на Нередина.

...Три звонка, лязг, тряска, перестук колес. Попутчик с дамой. Еще бы ничего, но даме душно, и она требует открыть окно. Мол, август нынче такой жаркий, такой тяжелый...

– Сударыня, прошу прощения... Я болен, видите ли... и... словом...

Почему он извиняется? К чему весь этот балаган, неужели по его нездоровому, типично чахоточному румянцу и по одышке не видно, в чем дело? Но молодая и, в общем-то, красивая дама смотрит на него с нескрываемой злобой, даже с гадливостью, словно он представляет для нее нешуточную угрозу или только что смертельно оскорбил ее. На следующей остановке она принимается вполголоса пилить своего спутника, и еще через четверть часа парочка переселяется в свободное купе.

Оставшись один, поэт вновь проваливается в сон. Будит его стук открываемой двери.

– Ах! Вы Алексей Нередин, не правда ли? Я узнала вас! Вообразите, мы уже встречались! У Мими на вечере, помните?

Черт возьми, поклонница! Он разом стряхивает с себя остатки дремы. Мими – это К., самое лучшее и, может быть, самое худшее воспоминание его жизни, но только что вошедшую трещотку у нее он точно не встречал. А дама уже уселась напротив него и взяла в осаду по всем правилам. Здесь и хлопанье ресницами, и нарочито наивные вопросы, и намеки на обстоятельства его личной жизни... Пару раз она даже цитирует его стихи, чем заставляет Алексея окончательно их возненавидеть.

Почему, ну почему он так не любит своих поклонниц? Ведь, если говорить по справедливости, разве не они покупают его книги, не они жадно дожидаются новых строк, что выливаются из-под его пера, не они шлют ему пылкие признания в любви на шести страницах (порою с грамматическими ошибками в каждой строке)? Разве не благодаря им в итоге он, бывший поручик пехоты, получил наконец возможность жить если не по-царски, то хотя бы по-человечески, закатывать роскошные обеды для друзей-актеров и писателей, давать бедствующим поэтам деньги в долг, пользоваться любовью К. и дружить с самыми умными и талантливыми людьми столицы? Однако факт остается фактом: Алексей терпеть не может своих преданных почитательниц. Ему претят их преувеличенные восторги, их экзальтированность, их потные руки, которые так и норовят вцепиться в него. Претит их преклонение перед его стихами при полном непонимании поэзии, их поверхностность, их непереносимое желание, чтобы он и только он указал им какую-то дорогу, дал ответы на те вопросы, которые даже толком сформулировать невозможно: что есть жизнь, что ждет Россию в будущем и куда вообще катится мир?

Вначале это забавляло его, но потом стало раздражать. Когда-то он и впрямь считал, что поэт обязан указывать человечеству путь (куда – вопрос другой) и служить неким идеям; однако теперь он вовсе не был уверен, что человек, занимающийся литературным трудом, должен быть еще и философом, публицистом и по совместительству критиком существующего строя.

Последние недели, когда Алексей хворал и все время лежал в постели, он только и делал, что читал стихи – самые разные, от Тредиаковского и Державина до современников, большинство из которых знал лично; и его неожиданно поразило, до чего жалкими выглядят как неумеренные восхваления, так и гневные обличения – вне зависимости от того, что их вызвало. Не

лучше дело обстояло и с самыми прогрессивными, самыми положительными идеями; спору нет, до отмены рабства (которое стыдливо именовалось крепостничеством) все громы в его адрес казались ужасно смелыми, но сейчас они выглядели на редкость куце и беспомощно. Вся беда в том, подумал Алексей, что история не стоит на месте и идеи, донельзя актуальные сегодня, через десяток-другой лет выглядят уже милой нелепостью; но и через сто, и через триста лет люди по-прежнему будут любить друг друга, и оттого «Шепот, робкое дыханье...»<sup>2</sup> скажет им куда больше, чем сотни обличительных строк какой-нибудь некрасовской поэмы. Потому что прошлое мертво и предано забвению; читателю интересно лишь то, что лично ему говорит тот или иной текст, и ему так же мало дела до высоких мотивов автора, как и до него самого. Каждый хочет найти в чужом стихотворении, поэме, романе лишь себя, свои незатейливые проблемы и неглубокие чувства, которые кажутся ему самыми важными на свете; и, если он встречается в этом лабиринте слов подобие своего отражения, он готов признать автора гением, а если нет – отказывает ему даже в намеке на талант.

Алексей вспомнил критическую статью, которая на днях появилась в одном из журналов, куда он необдуманно отказался посылать свои стихи, – уж в ней-то определенно утверждалось, что таланта у него нет и не предвидится. Статья была отточенно-язвительная, как и все, что писал знаменитый критик Емельянов. Маша, добрая душа, пыталась спрятать ее от брата, но к нему заглянул приятель – просить денег в долг – и проговорился. Алексей прочитал дышащие ядом и недоброжелательностью строки и пожал плечами – после выхода на шумевшей «Деревянной России» ему доводилось читать и не такое. Но отчего-то сейчас, когда он вспомнил о Емельянове, ему сделалось трудно дышать и в груди словно образовался плотный ком, мешающий сердцебиению. Он достал платок и украдкой вытер лоб.

– Я читала, – щебетала меж тем попутчица, преданно заглядывая ему в глаза, – будто вы сказали, что в России все поэты делятся на две категории: на Пушкина и на всех остальных. Скажите, вы это серьезно? Ведь на самом деле Пушкин ужасно груб! Да и стихи его, по правде говоря, простоваты...

Терпение Алексея истощилось, он извинился и выскользнул из купе. Встретив кондуктора, поэт сунул ему в руку бумажку и попросил пересадить его в другой вагон, объяснив, что у него болит голова.

А ведь другие поэты еще завидуют мне, думал он с горечью, когда кондуктор исхитрился-таки освободить для него целое купе и Нередин смог наконец остаться один. О, эта яркая манящая заплата, именуемая славой, – заплата, которая любое ветхое рубище превращает в королевскую мантию!<sup>3</sup> Но к чему притворяться, к чему строить из себя моралиста? Разве не мечтал он сам об этой самой славе, когда был поручиком? Разве не грезил о ней, исписывая целые тетради первыми, еще беспомощными, стихами? Ни один поэт, ни один писатель не пишет для того, чтобы остаться безвестным; литература – не та профессия, где можно просто работать как все, не требуя признания, и быть довольным своей жизнью. Он не чиновник, не штукатур, не возчик, а поэт; он не может существовать без публики, без читателей и почитателей, и если часть их оставляет желать лучшего – что ж, таковы издержки славы; и если критики нападают на него даже сейчас, когда он устал и смертельно болен, – это тоже издержки славы, и, может быть, даже в сто раз хуже, чем самая бестактная из почитательниц. Он вспомнил слова из статьи Емельянова – «пишущий господин, который мог стать известным лишь в наше поэтическое безвременье» – и дернул щекой.

Состав замедлил ход – они подъезжали к границе. По соседним путям бойко прогрохотал нарядный поезд, летящий на всех парах в обратном направлении, и у поэта сжалось сердце.

<sup>2</sup> Начало знаменитого стихотворения Афанасия Фета.

<sup>3</sup> Намек на слова книгопродавца из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»: «Что слава? – Яркая заплата // На ветхом рубище певца».

«А ведь все это в последний раз, – подумал он. – И мое путешествие – тоже последнее; когда меня наконец повезут обратно, я уже ничего не увижу, ни вон той погнутой березы, ни синичек на телеграфных проводах – ничего». Он чувствовал себя опустошенным, словно вынутым из жизни, как если бы душа настоящего Нередина осталась где-то далеко, в окутанном туманами Петербурге, отдельно от него, в то время как его тело, его оболочка продолжала свой путь туда, откуда уже не будет возврата. «А у Емельянова наверняка отличное здоровье... – с внезапной злостью подумал он. – И уж верно, именно он первым тиснет прочувственную статейку, когда меня не станет. Еще и будет врать, как он ценил мой талант, – с него станется».

Почему-то сразу же на память пришла последняя встреча с К. Алексей хотел, чтобы она проводила его на вокзал, но ей было некогда даже говорить с ним – беседовала с какими-то хлыщами. И только когда он уходил, весело-сердечно бросила ему: «Поправляйтесь!» И доктор Ермолов, пряча глаза, тоже обнадеживал его, что в тамошнем климате, да при надлежащем уходе... Но зачем обманывать себя? Все началось еще в армии, в той самой проклятой армии, куда он пошел по настоянию отца. Скверное обмундирование, вороватые физиономии подрядчиков... Там-то он и простудился первый раз и запустил болезнь, которая затаилась, выжидая своего часа, и лишь на двадцать девятом году жизни взорвала его изнутри. Однако Лермонтову было суждено еще меньше, двадцать семь, а Пушкину всего лишь тридцать семь. Благосклонна смерть к поэтам – ничего не скажешь...

Вздор, одернул себя Алексей, ничто же не помешало Тютчеву прожить с толком все семьдесят лет, а ведь он тоже поэт не последний; Плещеев, Майков, Фет, Полонский вполне себе живы и здравствуют, и даже стихи пишут, хотя им под шестьдесят и за шестьдесят; и только он, Нередин, попался так нелепо, так глупо... И, тоскуя, он стал вспоминать все, что было в его жизни, все, чего в ней не было, то, чего ему удалось достигнуть, то, что так и не успел сделать и что теперь, наверное, ему уже не удастся наверстать. Он никогда не испытывал потребности в семейном уюте, но теперь ему было безумно жаль, что у него нет ни жены, ни детей, которые носили бы его фамилию. Он не написал многое из того, что хотел, слишком мало был любим, слишком сильно любил тех, кто не дорожил им, и так и не увидел Италию, где мечтал побывать всю свою жизнь. Юность его съела нужда, а остаток прикончила суета. И еще он внезапно осознал, что никогда толком не видел моря. У него даже не было стихов, посвященных этой стихии, – все поэтические бури, шквалы и ураганы прошли мимо него. Само собою, он бывал на берегу Финского залива, но южные моря с их аквамариновыми волнами и великолепием красок так и остались для него недостижимы. И отчего-то в то мгновение именно это показалось ему особенно обидным и несправедливым.

## Глава 2

Оно было сапфировым, лазоревым, восхитительным. Над водой с криками носились чайки, а вдали на волнах покачивался белоснежный парусник, шедший к Монако. Слева за мысом были видны еще несколько лодок, и солнце щедро поливало морскую гладь расплавленным золотом.

«Вот он, белеет парус одинокий... – угрюмо размышлял поэт, сдвинув шляпу на затылок. По шее и по вискам струился пот. – Итак, здравствуй, свободная стихия<sup>4</sup>. Ну и что, что море, ну и что, что Средиземное? Скучно. В сущности, неинтересно. Похоже на безвкусную акварель неумелого художника. И эти яркие краски, пальмы, брр... – Он поежился. – Зелень какая-то неживая. – Он проводил взглядом островерхий кипарис, попавшийся им по пути. – Слишком много всего. Кипарис – дерево смерти... так считали древние. А впрочем, не все ли равно, где умирать?»

Коляска, управляемая умелым возницей, ехала вдоль берега под ровный перестук подков. Алексей снял шляпу и платком вытер лоб. Наедине с собой ему становилось совсем уж невыносимо. О чем бы ни думал, мысли его неизменно возвращались к одному и тому же.

– Много сейчас больных в санатории? – спросил он у возницы на вполне сносном французском.

– О да, месье, – откликнулся тот. – Тех, что живут постоянно, человек тридцать, и еще доктор принимает у себя. Да вы и сами все увидите.

– А русские среди них есть? – быстро спросил Алексей. Ему вдруг показалось невыносимо, что он умрет в чужой стране, среди совершенно посторонних людей, не видя ни одного соотечественника и не слыша родной речи.

– Русские? Конечно, месье. Заведение доктора Гийоме всем прекрасно известно. Сейчас в санатории две дамы из России. Одна, кажется, художница, а вторая... – Возница на мгновение задумался, подбирая слова, которыми можно было ее поточнее охарактеризовать. Наконец нашел: – Вторая – настоящая дама.

«И зачем я приехал сюда? – обреченно помыслил Нередин. – Ведь ясно же, что все это совершенно бесполезно».

Коляска завернула направо и подкатила к дому в два этажа, выкрашенному в белый цвет. Слуга, стоявший возле дверей, помог поэту выйти, другой принял его багаж.

– Прошу вас, месье... Сюда.

Высокий прохладный холл, лестница на второй этаж, двери, двери... Из-за одной вырвался раскат женского смеха, и Алексей невольно вздрогнул.

Нет, не таким он представлял санаторий, совсем не таким.

Всюду светлые краски, со вкусом подобранная мебель, статуи... положим, гипсовые копии, но все равно, оставляющие очень приятное впечатление. Казалось, он попал не в санаторий для чахоточных, над которым витала незримая темная птица-смерть, а на виллу к радушному богачу-меценату – одному из тех, которые не знают, куда девать свои деньги, и со скуки вкладывают их в искусство и литературу.

– Сюда, месье, – повторил слуга, отворяя дверь. – Вот ваши комнаты. Доктор Гийоме примет вас через несколько минут. Я зайду за вами.

Он сделал знак второму слуге, который нес багаж, и вышел.

– Вам помочь, месье?

Нередин ответил, что справится сам, и второй слуга тоже удалился, оставив его одного. Алексей осмотрелся. Ореховая мебель, удобные кресла, на стене – натюрморт с цветами. Из

---

<sup>4</sup> Герой вспоминает известное стихотворение Лермонтова и начало стихотворения Пушкина «Прощай, свободная стихия».



комнаты-гостиной дверь вела в спальню, и он остановился на пороге, глядя на кровать. Значит, здесь его и постигнет смерть...

Он подошел к окну. Так и есть – отсюда видно все то же невыносимое Средиземное море. Только здесь оно казалось хмурым и неприглядным; возможно, виною тому были торчащие там и сям крутые скалы, о которые бились сердитые темные волны.

«А у моря-то, оказывается, два лица», – с неожиданным удовлетворением понял поэт. Он подумал, что это могло бы стать неплохой темой для стихотворения (как и все пишущие люди, во всякой мысли, во всяком происшествии он видел прежде всего тему для сочинения и уже потом – собственно мысль или происшествие), но перед ним вновь возникло лицо той глупой дамочки из поезда, которая считала стихи гениального, неповторимого Пушкина простоватыми. Для кого сочинять? Для кого стараться? Для читающего стада? Пожав плечами, Алексей отошел от окна. «И потом, море – слишком заезженная тема».

Вошел слуга и, почтительно поклонившись, доложил, что доктор Гийоме ждет господина Нередина.

Они спустились на первый этаж, и слуга ввел Алексея в просторный, ярко освещенный кабинет. При появлении поэта человек, сидевший за столом, поднял голову.

Доктору Пьеру Гийоме было около сорока пяти лет. Резкие черты лица, черные живые глаза и черные же волосы. Быстрым взором он окинул своего нового пациента и поднялся из-за стола.

– Благодарю, что вы предупредили телеграммой о своем приезде... Можешь идти, Анри. Слуга удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь.

– Прошу вас, – сказал доктор.

В следующие полчаса он провел самый тщательный осмотр пациента. Однако тщетно Алексей пытался понять по его лицу, что именно доктор думает о его болезни, – Пьер Гийоме был совершенно замкнут и непроницаем.

– Что ж, – сказал он наконец, убирая стетоскоп, – разумеется, если бы лечение было начато раньше... Вы жили в Петербурге?

«Я живу в Петербурге», – хотел было ответить поэт, но поглядел на утомленное лицо врача, на круги под его глазами и понял, что поправка была бы явно лишней.

– Я... да.

Гийоме пожал плечами:

– В мои привычки не входит критиковать власти, да еще не моей страны, но если бы ваш царь Петр был на самом деле велик, он бы не раз подумал, прежде чем выбирать для столицы такое неподходящее место. – Доктор вернулся за стол и стал стремительным почерком писать что-то в карте больного. – Каждый год ко мне обращаются десятки ваших соотечественников... Чем вы болели в детстве?

Алексей перечислил, на ходу вспоминая французские названия болезней. Он оделся и застегнул рубашку, но не сразу смог справиться с запонками. Что-то доктор ему скажет о его болезни...

– А тех, кто по разным причинам не может обратиться, конечно, во много раз больше... – продолжал Гийоме и поморщился. – Прошу вас, сядьте, месье. Итак...

– А что, кроме русских, у вас нет других пациентов? – не удержался поэт.

– И англичане, конечно, – пожал плечами доктор. – Особенно женщины, потому что английские мужчины много занимаются спортом, а вот для женщин тамошний климат просто губителен. Впрочем, чахотка ведь не разбирает национальностей и сословий, ею болеют все, даже короли и принцы... Кстати, кто-нибудь из вашей семьи болел чахоткой?

– Никто, – ответил Алексей.

– Друзья, знакомые, слуги?

Но Алексей смог вспомнить лишь учителя в гимназии и одного сослуживца по полку.

– Когда вы впервые заметили у себя симптомы болезни?

Нередин подробно рассказал. Он был на даче... у знакомой дамы... и вдруг на него напал жуткий кашель. Поскольку незадолго до того он был простужен, то решил, что все еще называется простуда... Но на платке оказалась кровь. Потом он хворал, на него навалилась слабость... Приехала Маша, вызвала лучших врачей, и они сказали... сказали ему...

Пьер Гийоме рассеянно кивнул.

– К врачу надо было сразу же обратиться, – произнес он, глядя мимо поэта. – Сразу же, а не ждать... Итак, месье Нередин, – как и все французы, он делал ударение на последнем слоге, – мои условия вам известны. Вы живете здесь, я наблюдаю вас и лечу. Относительно платы мы уже условились...

– Скажите, – несмело начал поэт, – а разве я... разве я не смогу покидать санаторий?

– Вам сначала придется объяснить мне, для чего вы его покидаете и надолго ли, – отрезал доктор. – С вашими соотечественниками невероятно тяжело иметь дело. Я говорю одно, они делают другое... Я говорю: необходимо вести умеренный образ жизни, не гулять в дождь, не выходить на лодке в море – так нет, они делают все наперекор. И что в результате? А в результате наживаются гробовщики. Недавно еще я лечил одного вашего великого князя. Замечательно образованный человек, цитировал наизусть чуть ли не всего Мольера и Монтеня, но не соблюдал курс лечения. Я сказал: прекрасно, *monsieur grand-duc*<sup>5</sup>, я умываю руки, потому что до конца лета вы не доживете. Он меня выгнал. Его жена со слезами вызвала меня обратно через некоторое время, но было уже поздно: он умирал. А ведь я предупреждал его! На той неделе его похоронили. Так что, если вы собираетесь своевольничать, месье, то можете даже и не начинать курс лечения. Я верну вам деньги, и на том покончим. Вы должны понимать: если я требую чего-то, то вовсе не для собственного удовольствия, а для того, чтобы вам же было лучше. В конечном итоге я делаю это для того, чтобы спасти вашу жизнь.

– Я ценю вашу откровенность, – пробормотал Алексей, – и у меня нет никакого желания вам перечить... Я готов лечиться так, как вы скажете. Но я хотел бы... хотел бы узнать... – Он замаялся.

Доктор Гийоме взглянул на него, и улыбка тронула его губы.

– Понятно. Что ж, я не сторонник теории, согласно которой врач во имя каких-то высших соображений имеет право утаивать от больного сведения о его здоровье. Пациент должен знать, с чем ему придется иметь дело. Так вот... – Он нахмурился. – Если бы вы обратились ко мне на три или хотя бы на два месяца раньше, я бы сказал, у вас было шесть шансов из десяти.

– Остаться в живых? – прошептал Алексей, глядя на доктора во все глаза.

Гийоме кивнул.

– Именно. Сейчас время упущено, так что шансы поменялись: четыре из десяти. Это не много, но и не мало, учитывая ваш возраст и конституцию, так что выздоровление вполне возможно. Вы чем-то недовольны? – спросил он, заметив тень, которая промелькнула на лице поэта.

– Доктор Ермолов... – Алексей собрался с духом: – Доктор сказал... не мне, но моей сестре... что мне осталось жить не более полугода.

Пьер Гийоме пожал плечами.

– Ваш доктор Ермолов – болван, – с восхитительным спокойствием промолвил он. – Можете при случае прямо так ему и передать от меня. Конечно, если вы будете бродить под дождем и объедаться мороженым, то все закончится даже быстрее, чем через шесть месяцев, но я не вижу смысла это обсуждать.

---

<sup>5</sup> Месье великий князь (франц.).

«Врет или нет?» – напряженно размышлял Алексей. Ему безумно хотелось верить, что для него еще не все потеряно, но он боялся быть обманутым. Он слишком свыкся с сумеречной тенью, которая следовала за ним повсюду.

– Впрочем, – добавил доктор, – вы должны быть готовы к тому, что выздоровление будет отнюдь не легким и займет длительное время, а в случае благоприятного исхода вам все равно придется беречься всю оставшуюся жизнь, чтобы не заболеть снова. И тем не менее я склонен думать, что все не так уж плохо. – Он снова улыбнулся, но его глаза оставались все такими же черными и непроницаемыми. Повернувшись в кресле, он резко позвонил и крикнул: – Анри! Позовите доктора Шатогерена, будьте добры!

Через минуту в кабинет вошел высокий брюнет средних лет с серыми спокойными глазами. Алексей неловко поклонился.

– Мой помощник Рене Шатогерен, Алексис Нередин, наш новый гость, – представил мужчин друг другу доктор Гийоме. – У меня есть еще один помощник, доктор Филипп Севенн, но наблюдать за вами пока будет Рене. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нему. Также в санатории достаточно слуг и сиделок, главная сиделка – мадам Легран, вы еще с ней познакомитесь... Да, Рене, что там насчет мадам Фишберн?

– Все, как вы и думали, Пьер, – отозвался второй врач. – Я даю ей морфий, но... – Он нахмурился и покосился на Алексея.

– Сколько? – лаконично спросил Гийоме. На Нередина он даже не смотрел.

– Четыре дня, самое большое – пять. Вам не в чем себя винить. Вы сделали все, что могли.

– Да, я сделал все, – угрюмо ответил Гийоме. – Но этого всего тем не менее оказалось мало. Филипп еще не вернулся?

– Он приедет с вечерним поездом. Да, и по поводу того итальянского священника... – Рене протянул Гийоме телеграмму. – Его задержал дядя-кардинал, так что он будет лишь в конце недели.

– Что ж, это выбор, – устало сказал доктор. – Сколько я им ни говорю, что болезнь не станет ждать, они все равно не желают меня слушать. С остальными пациентами все в порядке?

– Да, – подтвердил помощник, – но я бы попросил вас обратить внимание на мадемуазель Лоуренс. Она опять принялась гадать на картах, и это пугает больных.

– Очевидно, вам придется опять с ней побеседовать, – поморщился Гийоме. – Итак, месье Нередин, месье Шатогерен проводит вас к остальным пациентам. Среди них есть и ваши соотечественники, вернее, соотечественницы, так что, я думаю, вам у нас понравится. Всего доброго.

## Глава 3

– Кто такая мадемуазель Лоуренс? – спросил Алексей у своего спутника, когда мужчины поднимались по лестнице.

– Мадемуазель Эдит Лоуренс – англичанка, – отозвался Шатогерен. – У нее небольшие проблемы с легкими, но ничего страшного. Она появилась тут несколько месяцев назад. Кто-то живет в санатории несколько недель, кто-то задерживается на годы, – пояснил доктор. – У всех по-разному.

– Я слышал, у вас живут несколько русских?

– Да. Госпожа баронесса Корф, очень любезная дама, и мадемуазель Натали, художница. Скажите, вы будете обедать со всеми в общей столовой или предпочитаете, чтобы еду приносили непосредственно к вам в комнаты?

– Наверное, я буду обедать со всеми, – подумав, сказал поэт. – Скажите, а у вас есть библиотека? Я очень люблю читать.

– Да, герцог Савари подарил нам свою библиотеку, – кивнул помощник. – Она вся в распоряжении пациентов. Также к нам привозят десяток газет на разных языках, чтобы пациенты чувствовали себя как дома.

– Герцог Савари? – заинтересовался Алексей. – Кажется, его дочь спас ваш... спас месье Гийоме?

– Да... Сюда, месье.

Они вошли в комнату, похожую на самую обыкновенную гостиную в большом доме. Да, впрочем, это и была гостиная. За маленьким столом с колодой карт сидела миниатюрная русоволосая девушка, а вокруг нее столпились трое или четверо человек. Возле окна на оттоманке устроилась красивая белокурая дама, которая рассеянно гладила лежащую на ее коленях серую кошку. Кошка блаженно жмурила зеленые глаза и тихо урчала от удовольствия. В углу за газетой сидел нахохлившийся рыжеватый юноша, и уже по брюзгливому, недовольному выражению его лица можно было с уверенностью сказать, что он настоящий англичанин. Молодой человек скользнул взглядом по вошедшим и отвернулся, но взоры всех остальных присутствующих незамедлительно обратились на них.

– А вот и вновь прибывший! – воскликнула девушка с картами. – Но он же не брюнет, а карты указывали на брюнета! – добавила она с разочарованием.

– Пустяки, Эдит, – возразил румяный молодой щеголь с военной выправкой, который стоял справа от стола. – Вы постоянно ошибаетесь.

Он улыбался, показывая белые зубы, и вообще выглядел как картинка, но одного взгляда на его румянец хватало, чтобы понять, что на самом деле щеголь серьезно болен. Сам он, впрочем, держался так, словно ничего такого не было и в помине.

– Я не могу ошибаться! – Девушка надула губы. – Карты показали брюнета... И смерть. Рыжеватый англичанин с хрустом сложил газету.

– Миссис Фишберн, как всем известно, на самом деле очень плоха, – уронил он в пространство. – Но совершенно непонятно, зачем все время твердить о том, что она умрет.

– Я вовсе так не говорила! – возмутилась девушка. – Но карты...

– Мадемуазель Лоуренс, – вмешался Рене Шатогерен, – боюсь, мне придется серьезно поговорить с доктором Гийоме о вас. Дайте-ка сюда карты.

– Но вы же не станете вот так, сразу... – Эдит обиженно глядела на него; казалось, она была готова заплакать. Англичанин презрительно покосился на девушку и вновь уткнулся в свою газету.



– Нехорошо, месье Шатогерен! – поддержала подругу очень высокая, нескладная девушка, стоявшая слева от стола. Третья, темноволосая красавица с газельими глазами, ограничилась тем, что раскрыла свой веер и стала им обмахиваться.

Щеголь пожал плечами и тайком улынулся даме, сидевшей на оттоманке. Дама повернула голову, и Алексей оторопел. На мгновение ее карие глаза вспыхнули золотыми искрами, которые совершенно ослепили его; но это длилось всего какую-то долю секунды. Она потушила свой взор, опустила ресницы и вновь принялась гладить кошку. Почему-то красивая молодая женщина показалась Нередину похожей на сфинкса – что-то в ней было загадочное, необычное, непохожее на других. «Сфинкс с кошкой», – подумал он и улыбнулся.

– Так-то лучше, – сказал Рене, когда Эдит, собрав карты, отдала их ему. – Дамы и господа, с сегодняшнего дня у нас в санатории появился новый жилец. Это месье Алексис Нередин, русский литератор. Так что...

– Боже! – ахнула высокая девушка по-русски. – Вы Нередин? Алексей Нередин, поэт?

И не успел он опомниться, как она уже стояла возле него и по-мужски трясла его руку. Англичанин так поразился столь вопиющему отсутствию манер, что чуть не выронил газету.

– Потрясающе! Я так рада! В этом постылом месте! А я еще не хотела ехать сюда!.. – бессвязно восклицала девушка. – Вы один из моих любимых поэтов!

– Один из? – поднял брови заинтересованный Алексей. – А кто остальные?

– О, – покраснела его собеседница, – мне даже неловко... Пушкин, Некрасов, Надсон... и еще другие. – Она умоляюще посмотрела на него.

– Я в хорошей компании, сударыня, – успокоил ее Нередин улыбкой, – простите, не знаю вашего имени...

– Ах, простите, я не представилась! – заторопилась странная и нескладная молодая женщина. – Наталья Сергеевна Емельянова. Я пишу картины... я училась здесь, в Париже и еще...

Улыбка замерла на губах Нередина.

– Я знаю одного Емельянова. Сергея Емельянова. Он литературный критик. Скажите, вы не...

– А, так вы знакомы с моим отцом? – обрадовалась Наталья. – Ну, конечно же! Он пишет в основном о прозе. Кстати, недавно опубликовал статью о графе Льве Толстом...

«И о поэзии он тоже пишет», – хотел сказать Алексей. Но внезапно у него пропала всякая охота разговаривать с этой девушкой о чем бы то ни было – слишком еще свежи были в памяти оскорбительные нападки ее отца. Наталья все еще держала его за руку, но он молча высвободился и отошел к оттоманке. Белокурая дама смотрела на него с сочувствием, и поэт разозлился на себя. У него было такое ощущение, что совершенно незнакомая ему красивая женщина видит его насквозь и читает все его мысли, но, конечно же, это была лишь иллюзия. Шатогерен, который по интонациям незнакомой речи и по выражению лица поэта понял, что произошло что-то неприятное, тотчас же подошел к нему.

– Баронесса Амалия Корф, – поспешно представил он женщину с кошкой.

И баронесса повела себя как настоящая баронесса – протянула ему тонкую кисть для поцелуя, а не стала тискать его руку, как неотесанная мужичка. Кошка скосила на поэта свои узкие черные зрачки и отвернулась. Ей не понравилось, что ее хозяйка отвлеклась на какого-то совершенно неинтересного – с кошачьей точки зрения – человека вместо того, чтобы продолжать гладить ее, и она недовольно дернула кончиком хвоста.

– Мы не встречались с вами прежде, госпожа баронесса? – с надеждой спросил Алексей. – В Петербурге?

– О да, – улыбнулась Амалия. – На вечере у графини Шаховской. Вы еще читали свои стихи... в пользу погорельцев, кажется.

– Ах, ну конечно же!

Наталья Емельянова обиженно смотрела на него, прикусив губу. Вот они, мужчины! Всем им непременно подавай бездушных красавиц, да еще титулованных, и даже лучшие из них ловятся на эту нехитрую приманку... Однако почему поэт так странно отреагировал на известие о том, что критик Емельянов – ее отец? Неужели тот что-то написал о нем... что-то неприятное? Но ведь отец всегда, смеясь, говорил, что в поэзии он ровным счетом ничего не смыслит, для него что Пушкин, что Кукольник, что Минаев – все едино... Нет, наверное, какие-то сплетни их поссорили. Ведь известно же, до чего поэты – мнительный и обидчивый народ!

А Рене Шатогерен тем временем продолжал знакомить вновь прибывшего с обитателями санатория. Мисс (он упорно величал ее мадемуазель) Эдит Лоуренс... Виконт Шарль де Вермон, бывший военный. Мадемуазель Катрин Левассер... Мистер Мэтью Уилмингтон...

– Мадам Анн-Мари Карнавале. Месье Нередин, русский литератор...

Мадам Карнавале оказалась благожелательного вида старушкой с гладко зачесанными седыми волосами. Она тихо сидела в угловом кресле, и при входе в гостиную Алексей ее попросту не заметил. В ответ на приветствие поэта мадам Карнавале улыбнулась и сказала, что она очень высокого мнения о русской литературе и что месье Леон Толстой пишет почти так же хорошо, как месье Золя.<sup>6</sup>

Рене, видя, что новый гость уже освоился, сказал, что заглянет к нему после обеда, и удалился. Эдит Лоуренс спросила у Алексея, какие стихи он пишет и что он думает, к примеру, о Шекспире, но тут вошел Анри и объявил, что с утренней почтой прибыли свежие газеты и письма для постояльцев санатория. Все оживились. Мистеру Уилмингтону пришли целых четыре письма и два пакета, красивая баронесса Корф получила одно письмо, по одному получили также Шарль де Вермон и мадам Карнавале. На имя Эдит пришла телеграмма, которую девушка пробежала глазами и скомкала. Уилмингтон не стал читать свою почту в присутствии посторонних, а забрал письма, невнятно извинился и ушел к себе.

– Деловая корреспонденция, – пояснила, глядя ему вслед, Наталья.

– Что, простите? – резко спросил Алексей.

– Он наследник табачной фабрики, у него большое дело.

В тоне молодой женщины Нередин уловил недоумение. Она явно не понимала, отчего поэт, которым она открыто восхищалась, так резок с ней.

– Мне-то что за дело до этого? – холодно спросил Нередин.

И опять увидел устремленные на него золотистые глаза баронессы Корф, и опять его кольнуло как иголкой тревожное чувство, что она видит его насквозь и что все ощущения его и мысли для нее как на ладони. У Натальи дрогнули губы. Она отвернулась и больше ничего не сказала.

Растворились двери, вошел слуга (не Анри, а уже другой) и объявил, что обед подан. Шарль де Вермон галантно подал руку Амалии, Нередин повернулся к Катрин Левассер – брюнетке с газельими глазами, но тут Эдит сделала обиженное лицо и объявила, что сегодня все настроены против нее, так что пришлось поэту взять под одну руку француженку, а под вторую – капризную юную англичанку, и так все направились в столовую. Шествие замыкали высокая нескладная художница, изо всех сил старавшаяся сохранить независимый вид, и спокойно улыбающаяся мадам Карнавале.

---

<sup>6</sup> Это не шутка: в точности такое же мнение о Толстом высказала в своем дневнике и русская художница Мария Башкирцева, постоянно жившая во Франции (см. «Дневник» М. Башкирцевой).

## Глава 4

– Правда, очень странно, что вы не брюнет, – промолвила Эдит. – То есть я была совершенно уверена...

В столовой к пациентам присоединился и Мэтью Уилмингтон, очевидно успевший покончить с деловой перепиской. Всего в зале было три стола, и поэта порадовало, что компания, с которой он успел познакомиться, полностью оказалась за одним из них. Если быть откровенным до конца, он бы не возражал против того, чтобы Натали Емельянова отсела куда-нибудь за другой стол, например за тот, вокруг которого собрались несколько некрасивых женщин лет сорока, какой-то дипломат в отставке и худой костлявый старик. Ее присутствие раздражало Алексея, и он никак не мог заставить себя быть с ней любезным; но тут его закружила карусель общего разговора, и он почти забыл о ее существовании, тем более что поданный обед оказался отличным.

– Какие они несносные, эти англичанки! – вполголоса проговорила художница по-русски после того, как Эдит вернулась к своей излюбленной теме – гаданию, которое на сей раз не оправдалось.

– Вы что-то сказали? – быстро спросила Эдит.

– Rien, mademoiselle<sup>7</sup>, – сухо ответила Натали.

Катрин Левассер поймала взгляд Нередины и улыбнулась ему.

– Вы должны извинить Эдит, месье, – сказала она. – Тут, в санатории, не слишком-то много развлечений.

– По правде говоря, – вставил Шарль де Вермон, – их тут вообще нет. Месье Гийоме очень строг во всем, что касается режима. Он вас предупредил, что за малейшую провинность вас могут запросто выставить отсюда?

– Признаться, – ответил поэт, помедлив, – я слышал об этом.

Шарль сделал комическое лицо.

– Прежде всего: никаких интрижек. Даже думать о них не дозволяется. – Он говорил и одновременно улыбался белокурой русской баронессе и француженке с газельими глазами. – Затем родственники. Доктор должен быть осведомлен обо всех, кто приезжает в санаторий. Визиты поощряются не чаще, чем раз в неделю. Чем реже – тем лучше, наверное, потому, что здоровые родственники скверно влияют на самочувствие несчастных больных, а нездоровые родственники влияют еще хуже.

Натали, не удержавшись, фыркнула.

– Затем... что еще? – продолжил де Вермои. – Ах да. Для собственного блага мы должны сидеть в четырех стенах. Гулять – только вблизи санатория и только тогда, когда светит солнце. Если кому-то вдруг понадобится отлучиться, он объясняет доктору, зачем это нужно, и подписывает бумагу, что освобождает его от ответственности, если с больным что-то случится. В общем, месье, в заведении доктора Гийоме у вас есть только два выхода: повеситься со скуки либо выздороветь. Очень многие предпочитают второе. – Он обернулся к соседнему столу. – Видите вон ту даму с жемчугами на шее? Она живет здесь уже шесть лет. Когда она только прибыла сюда, все врачи отказались от нее. Но Гийоме пообещал, что она будет жить, правда, при условии, что не покинет стены санатория и будет все время находиться под его наблюдением. Ее муж, месье Ревейер, души в ней не чает. Он владеет крупными магазинами в Париже, и один бог знает, сколько денег он уже дал доктору на его исследования. И этот человек, который коротко знаком с президентом страны и главой палаты пэров, вынужден раз в неделю при-

---

<sup>7</sup> Ничего, мадемуазель (франц.).

езжать сюда и, как школьник, выпрашивать свидание со своей женой. Но он на все согласен и даже не жалуется. Жизнь – великий дар, месье!

– Однако ведь не все выздоравливают, – возразил поэт, вспомнив разговор доктора и его помощника о неведомой миссис Фишберн.

– Конечно, не все, – вздохнула Катрин Левассер. – Но если даже месье Гийоме не сможет поставить больного на ноги, то, значит, и никто в целом мире не способен. Я сама, когда только приехала сюда, не могла подняться с постели, а теперь... – И она сдержанно улыбнулась Уилмингтону, с самого начала беседы не проронившему ни слова. – Возможно, через какое-то время я смогу вернуться к нормальной жизни. По крайней мере, мне так обещают. И я верю, что так оно и будет.

– И правда, Месье Гийоме – настоящий волшебник, – подала голос мадам Карнавале.

– Вы тоже так считаете, сударыня? – спросил Алексей у госпожи Корф, которая, судя по всему, весьма его занимала.

Баронесса улыбнулась.

– Если бы доктор Гийоме был не тем, что о нем говорят, меня бы здесь не было, – отозвалась она.

– И я тоже очень долго выбирала, к какому врачу обратиться, – подхватила Натали. – Отцу рекомендовали Пюигренье, другие советовали Карне, но я...

Алексей перестал слушать. Он понял, отчего молодая женщина так раздражала его: в ней была неприятная бесцеремонность, очевидно унаследованная ею от отца, – качество того же самого порядка, которое позволяло критику Емельянову судить, рядить и выносить приговоры авторам, ничего, по сути, не понимая в их произведениях, лишь поверхностно ознакомившись с ними. И еще он окончательно понял, что терпеть не может критиков, всех, вне зависимости от того, хвалили они его или ругали, – потому что всего тремя пренебрежительными строчками отзыва они могли уничтожить его работу, на которую он потратил силы, воображение и время. По какому праву получили такую власть люди, ничего, кроме статей и рецензий, в своей жизни не сочинившие и выдающие свои личные вкусы, предрассудки и пристрастия за всеобщую норму? Ведь он же знал, прекрасно знал, чего они все на самом деле стоили! Знал, сколько берет за каждый положительный отзыв маститый критик Букренин, знал, как сводит счеты с людьми более талантливыми, чем он сам, критик Роговцев, в прошлом известный графоман, знал, как старательно прогрессивный критик Маковский топит тех, кто имеет несчастье придерживаться иных политических взглядов, чем он сам. А Каврогин, который хвалил лишь тех, с кем пьянствовал в кабаках и кто платил его долги? А Стечкин, для которого все поэты делились на друзей и всех остальных? Да что там говорить! Алексей мог вспомнить разве что двух честных, бескорыстных критиков, причем один из них обладал совершенно чудовищным вкусом, а второй уже давно перестал что-либо писать...

– Вы нам читаете свои стихи, Алексей Иванович? – спросила художница, перегнувшись к нему через стол.

Положительно, она делала все, чтобы он ее окончательно возненавидел. Потому что Нередин придерживался той точки зрения, что поэзия, как и любовь, – дело двоих, стихотворения и читателя; вмешивать туда кого-то третьего, пусть даже автора, – преступление.

И еще он очень не любил читать вслух. В глубине его души все еще жил тот невысокий, цепко зажатый тисками жизни армейский поручик, который мечтал лишь об одном – чтобы его оставили в покое все без исключения, начиная от начальства и заканчивая родными. До сих пор Алексей плохо переносил любые проявления публичности. Да, за годы жизни в столице он научился делать над собой усилие, улыбаться и даже завоевывать зрителей, и со стороны казалось, что это выходит у него легко и непринужденно; но на самом деле он бы охотно отказался и от выступлений, и от неискренних (как ему казалось) комплиментов, которые неизменно следуют за ними.



– Простите, Наталья Сергеевна, – сухо обронил Алексей, – я сейчас не в голосе. И потом, здесь только трое понимают по-русски.

– А я многие ваши стихи знаю наизусть, – сообщила Натали, глядя ему в глаза мечтательным, туманным взором.

Любой другой женщине такой взор был бы к лицу, но не этой нескладной, неряшливо одетой и небрежно причесанной девушке. И Алексею показалось почти оскорблением, что такие недоразумения природы, как она, смеют читать его стихи и даже любить их.

Но внезапно их прервали – Уилмингтон, мирно евший свой десерт, поперхнулся и отчаянно закашлялся. Он изо всех сил старался остановиться, но не мог; его широкое, мясистое лицо стало багровым, он кашлял, задыхался, платок, прижатый к губам, стал совсем алым... Но тут распахнулись двери, и вслед за слугой в столовую влетел Рене Шатогерен, помощник доктора. Как кинжал, он выхватил из кармана склянку с какой-то золотистой жидкостью, накапал ее в ложку и не без труда влил в рот несчастного, который корчился на стуле.

– Может быть, позвать месье Гийоме? – пробормотал слуга, глядя на англичанина во все глаза.

– Не стоит, – отмахнулся Шатогерен. – Нет! – резко бросил он, когда слуга повторил свое предложение.

Уилмингтон дышал хрипло, но больше уже не кашлял, и зловещая краснота медленно сползала с его лица. Из-за других столов на него смотрели бледные, испуганные люди. Он попытался что-то сказать, извиниться за происшедшее, но Шатогерен не дал ему раскрыть рта и, крепко держа его за локоть, повел к двери. Слуга распахнул перед ними створку. Еще мгновение – и спотыкающийся англичанин, которого ни на мгновение не отпускал помощник доктора, скрылся из виду.

– Какой ужас, – прошептала Эдит. По ее щекам катились слезы.

Шарль де Вермон был мрачен. И не требовалось быть особым сердцеведом, чтобы понять причину смены общего настроения. То, что произошло с англичанином, могло приключиться с любым из них. Тень смерти по-прежнему витала над этим домом, и она же незримо присутствовала за спиной каждого живущего в нем.

Но тут старая мадам Карнавале шевельнулась и заговорила о парижской опере, о знаменитой австрийской певице Летлинг и о музыке Моцарта. И все с облегчением последовали ее примеру и погрузились в чинный светский разговор, в котором не было места ни болезни, ни тлению, ни тому, что ждет каждого из нас.

## Глава 5

– В сущности, с Уилмингтоном давно все понятно. – Шарль де Вермон говорил и шурился на пеструю цветочную клумбу возле платана, который отбрасывал на нее причудливую сторбленную тень. – Его дни сочтены. Он слишком поздно захватил болезнь, и даже Гийоме вряд ли сможет ему помочь.

Разговор происходил после обеда, когда Нередин решил прогуляться вокруг дома. Офицер вызвался составить ему компанию. Он уже познакомил вновь прибывшего с остальными обитателями санатория и теперь отводил душу, сплетничая о пациентах и докторах. Не то чтобы он по натуре был склонен к злословию – просто у Алексея создалось впечатление, что де Вермону смертельно надоело его привычное окружение, и он был рад любому новому лицу.

– А мадемуазель Левассер? – спросил Алексей.

– Катрин? – Француз пожал плечами. – По-моему, у нее все хорошо. Иногда она кашляет, но цвет лица у нее хороший. Нет, думаю, она поправится. Как и маленькая англичанка. Их здоровью ничто не угрожает.

– Я вижу, вам все обо всех известно, – улыбнулся поэт. – Ну а о баронессе Корф вы что скажете?

– О, баронесса тут недавно, всего месяц или около того, – объяснил офицер. – Она лечится у разных докторов уже довольно долгое время, переезжает из одного города в другой и остается там, где ей больше нравится. Доктор Гийоме нам постоянно ставит ее в пример. По-моему, она единственная пациентка, с которой у него никогда не было хлопот. А вы с ней знакомы?

– Я ее видел один раз, – кивнул Алексей, – в Петербурге.

Шарль вздохнул и подкрутил ус.

– Иногда, – доверительно сообщил он, – я подумываю о том, чтобы нарушить запрет нашего доктора насчет любовных интрижек. Честное слово!

И он рассмеялся так заразительно, что Алексей, которого его замечание немного поколебало, поймал себя на том, что улыбается ему в ответ.

– Вы еще не спрашивали меня о почтенной мадам Карнавале, – поддел Шарль поэта. – Неужели она вас совсем не интересует? Такая милая особа, такая воспитанная! А эта русская художница? За обедом она так на вас смотрела – о! – И он рассмеялся еще громче, довольный тем, что заставил собеседника покраснеть.

Сама же русская художница сидела с альбомом в нескольких десятках шагов от мужчин и быстро-быстро делала карандашом какие-то наброски. Подойдя к Натали, Амалия увидела, что та рисует Алексея Нередина.

– Вам нравится? – спросила Натали, видя, что баронесса рассматривает ее наброски.

Она рисовала неплохо, но Амалии было отлично известно, что в искусстве, как и во множестве других областей, «неплохо» вовсе не значит «хорошо». В рисунках Натали чувствовалась выучка, чувствовалась достаточно уверенная рука, но – и только. Однако Амалия не считала себя вправе огорчать молодую женщину.

– По-моему, похоже, – честно сказала она.

Натали вздохнула. Плечи ее опустились.

– На самом деле такое лицо, как у него, надо рисовать в цвете, – призналась она. – Видите? Русые волосы, почти золотистые, бородка, голубые глаза... На холсте это смотрелось бы очень красиво. Вы не попросите его позировать мне? – внезапно спросила она.

– А вы?

– Я боюсь. – Натали поежилась, и Амалия увидела, что молодая женщина действительно боится. – Вдруг он мне откажет?

Амалия вздохнула:

– Я попытаюсь. Но ничего не обещаю. Сами знаете, поэты – такой непредсказуемый народ...

– Я была бы счастлива, если бы он согласился, – горячо промолвила художница. – Для меня такая честь! Из всех современных поэтов он самый искренний, самый лучший, самый... – И она покраснела, словно только что призналась постороннему и совершенно равнодушному человеку в своей любви.

– Вы ведь прежде с ним не встречались, верно? – спросила баронесса.

– Нет. – Натали покачала головой и завела за ухо выбившуюся из прически прядь волос. – У нас невозможно для женщины учиться живописи, только во Франции. Если бы я жила в Петербурге...

Амалия задумалась. Значит, недоброжелательность, которая была написана на лице Нередины, вызвана вовсе не Натали, а чем-то другим. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться об истинной причине. Интересно, что такого ее отец, известный своим ехидным пером критик Емельянов, мог написать о поэте, что тот даже не желает общаться с его дочерью...

– О, – встрепенулся Шарль. – Смотрите, она идет к нам! Но смотрит она на вас, – тотчас же поправил он себя. – Отчего я не поэт? Тогда бы ни одна женщина не смогла пройти мимо меня.

Алексей кашлянул.

– Мне казалось, вам и так не на что жаловаться, – с сомнением в голосе заметил он. – Разве нет?

– Не на что? Да я просто умираю от скуки! – отмахнулся офицер. – В Африке были болезни, туземцы с отравленными стрелами и дикие животные, но там, по крайней мере, я ощущал себя живым. А здесь... – Он пожал плечами. – Вы и сами видите, что тут за публика. Одни отвратительные старухи вроде мадам Карнавале, которые до смерти боятся умереть. – Он и сам не заметил, как скаламбурил. – Чего она боится? Ведь ясно же, что ей и так пора... Гийоме – святой, я ничего не говорю, но раз в две недели в санатории все равно кто-то умирает. Похороны действуют мне на нервы. Да и другие пациенты тоже способны вывести из себя кого угодно. Маленькая англичанка – просто сумасшедшая, я не знаю, отчего ее до сих пор отсюда не выгнали. Мадемуазель Левассер – само очарование, но, кажется, она равнодушна к тому рыжему, а он ведь на ладан дышит. Про мадемуазель Натали я ничего не скажу, вы и сами все видите. Ну а госпожа баронесса... – Но он вынужден был замолчать, потому что Амалия была уже поблизости. В руке она держала кисейный зонтик от солнца и, подойдя к мужчинам, поглядела на них ласково и вместе с тем с легкой иронией.

– Он вас не утомил, Алексей Иванович? Вы уже выслушали историю про тигра и спасенного ординарца? Нет? Ну тогда я больше ничего не скажу: вас ждут десятки историй в таком же духе. Шевалье де Вермон – прирожденный рассказчик. Он воевал в Африке, и нет такого племени, о котором он не мог бы сообщить каких-нибудь леденящих душу подробностей. Вам определенно стоит написать книгу, шевалье!

– Терпеть не могу портить бумагу, – возразил офицер. – А с вашей стороны, сударыня, нехорошо так смеяться над бедным больным. У вас доброе сердце, и, когда я умру, вы будете жалеть о своем поступке.

Тон его, выражение красивого капризного лица – все в тот момент напоминало маленького мальчика, а не мужчину тридцати лет, много воевавшего и наверняка многое повидавшего на своем веку. Алексей был озадачен, и в то же время ему стало немного стыдно. Однако ответ Амалии поразил его.

– Мы все когда-нибудь умрем, шевалье, и никто не знает, о чем мы будем жалеть в свой смертный час, – спокойно произнесла молодая женщина. – Кстати, вы по-прежнему мой верный рыцарь?

– Без страха и упрека, – подтвердил Шарль, поклонившись.

– Тогда добудьте мне красную розу, я ее приколю к платью в вашу честь.

– Красную? – воскликнул офицер. – Но тут кругом одни белые розы!

– Кажется, за домом есть куст красных роз, – подсказала Амалия, улыбаясь поэту. – Весь вопрос в том, хватит ли у вас смелости отправиться в столь далекое путешествие. Потому что мадам Карнавале, которая вам почему-то не нравится, как всегда, сидит на берегу в кресле. А куст как раз недалеко от нее.

– Цербер, стерегущий сокровище... – вздохнул молодой человек. – Ну что ж, я добуду красную розу для самой красивой женщины на Лазурном Берегу, хотя бы мне даже пришлось столкнуть старушку вниз со скалы.

И он склонился в глубоком поклоне, а затем двинулся прочь.

Алексей с любопытством ждал продолжения. Он понимал, что Амалия спровадила своего поклонника не просто так, а явно желая поговорить с ним. Но баронесса молчала и рассеянно чертила концом зонтика по поверхности дорожки какие-то фигуры. Богатая карета подкатила к главному входу санатория, из нее вышел представительного вида господин с тростью и скрылся в доме.

– Кажется, это герб графа Эстергази, – рассеянно заметила баронесса. И без перехода: – Алексей Иванович, я хотела бы попросить вас об одолжении.

Заинтригованный, он сказал, что весь к услугам госпожи баронессы.

– Одна молодая особа мечтает написать ваш портрет... – заговорила Амалия. Нередины сразу же понял и хотел прервать ее речь, но молодая женщина легонько коснулась его руки: – Нет-нет, Алексей Иванович, давайте не будем торопиться. Я знаю, Наташа может показаться немного... странной, но она хорошая девушка, а сейчас к тому же серьезно больна. Я не знаю, чем могла вас обидеть ее семья, хотя и догадываюсь, но я умоляю вас о снисхождении. – Поэт, вспыхнув, промолчал. – Ей и без того нелегко, поверьте мне. Всего лишь одно доброе слово или незначительный жест с вашей стороны, и она будет счастлива, а значит, ее шансы остаться в живых возрастут. Томик ваших стихов лежит у изголовья ее кровати, она постоянно их цитирует. Наташа и не думала когда-нибудь встретиться с вами, и вот – вы здесь, и она может говорить с вами о поэзии, может рисовать вас... ничего другого ей и не надо. Я не прошу вас потакать ее капризам, не прошу исполнять все ее желания. Просто будьте чуть помягче с ней, Алексей Иванович, потому что – только между нами! – здоровье ее в очень неважном состоянии. Не следует огорчать девушку лишней раз.

– Вы так говорите, сударыня, – проворчал Алексей, глядя в сторону, – будто только от меня зависит, поправится она или нет. Воля ваша, но, по-моему, это нелепо. И я не люблю позировать для портретов, ведь фотографии все равно точнее и, главное, делаются гораздо быстрее.

Он покосился на Амалию и, к своему удивлению, увидел, что она улыбается.

– Должна признаться в ужасной вещи, – внезапно промолвила она. – Мне нравится, когда вы сердитесь. У вас становятся такие глаза...

И, совершенно обезоружив поэта чисто женским выпадом, баронесса взяла поэта под руку и повела вдоль цветника, пока ее собеседник не успел – чисто по-мужски – от растерянности перейти к раздражению.

– Но я не хочу никому позировать! – все еще пытался сопротивляться Алексей.

– И прекрасно, – не стала спорить удивительная женщина – его спутница. – Но не надо обижать Наташу прямым отказом. Скажите, что вы польщены, но работаете над большой поэмой и надеетесь, что она вас великодушно извинит... и все в таком же духе.

– Я никогда не писал больших поэм, – возразил Нередин уже сердито. – И вообще в последнее время я пришел к выводу, что стихи должны быть как можно короче. Поэзия все-таки не проза. Это чувство, сжатое в несколько строк... чувство, помноженное на музыку стиха. Вы понимаете?

Конечно, она ничего не понимает. Но разве редко так бывает в жизни, что, беседуя с другими, словно разговариваешь сам с собой, четче уясняя себе некоторые важные вещи?

– Я бы сказала, чувство и мысль, – поправила его Амалия. – Чувство без мысли мало что значит – я имею в виду, в поэтическом смысле. Да и в житейском тоже – ведь нет ничего скучнее слов «люблю тебя», которые беспрестанно повторяет какое-нибудь неумное существо.

И опять в ее глазах полыхнули, закружили искорки, которые сбили Нередина с толку, так что пока поэт собирался и искал слова для ответа, они уже успели дойти до середины сада, где их нагнал офицер с красной розой.

– Стало быть, вы уже столкнули старую даму в воду? – весело приветствовала его баронесса.

– Какое там! – воскликнул Шарль. – Если бы дошло до подобного, бьюсь об заклад, она бы первая скинула меня со скалы! Видели бы вы, каким взглядом меня смерила старуха, когда я появился!

– Бедная мадам Карнавале... – вздохнула Амалия, прикалывая розу к корсажу, пока поэт держал ее зонтик. – Вам не кажется, Шарль, что вы чересчур к ней жестоки?

– Ничего не могу с собой поделать, – признался офицер. – Наверное, когда все время видишь, как умирают молодые, начинаешь дурно относиться к старикам. – Он почувствовал, что сказал лишнее, и поторопился сгладить неловкость: – А между тем мадам Карнавале – самая любезная и достойная женщина среди пациентов доктора... не считая присутствующих, конечно.

– Шарль, вы опасный льстец, – заметила Амалия предостерегающе. – И мы не будем вас слушать, а просто пойдем к мадемуазель Натали. Кажется, она уже закончила свой рисунок.

Они подошли к молодой художнице, которая, заметив приближающегося поэта, захлопнула альбом, снова раскрыла его, пролепетала несколько бессвязных слов и втянула голову в плечи. Со стороны это выглядело довольно жалко, и Алексей почувствовал укол совести. «В сущности, баронесса Корф права... Наталья Сергеевна ни в чем не виновата. И простая любезность меня ни к чему не обязывает». Он посмотрел рисунки, похвалил их – что ему довольно легко было сделать, ведь поэт не разбирался в живописи, – и сказал, что польщен предложением рисовать его портрет, но вряд ли у него найдется время для сеансов, поскольку не собирается прекращать работу и в санатории... Впрочем, там видно будет, но пока он не может ничего обещать. И Натали, порозовев от смущения, стала уверять поэта, что она и в мыслях не имела отрывать его от творчества. Но, если он сможет выполнить ее просьбу, она будет считать себя самым счастливым человеком на свете!

В саду потемнело – тучи закрыли солнце. С моря надвигалась гроза, и вдали в черно-желтой утробе туч уже грозно сверкало. Слуга вышел в сад и попросил всех пациентов вернуться в дом. Последней в двери вошла вернувшаяся с берега мадам Карнавале, и, как только она переступила порог, сплошной стеной хлынул дождь.

## Глава 6

«Стихия плачет и тоскует...»

Сначала Алексей зачеркнул слово «тоскует».

Затем «плачет».

Под конец вычеркнул слово «стихия», которое, по его мнению, выглядело слишком претенциозно. Если ты пишешь о море, так и пиши – море. Ни к чему всяческие там излишние украшения в конце-то девятнадцатого века.

Но море ломало размер и превращало его в чистый хорей, который Алексей не слишком жаловал. Все не ладилось, и он еще раз перечеркнул фразу, на сей раз – волнистой чертой.

Это была шестая или седьмая строка из тех, что уже были густо зачеркнуты на листе. Со вздохом Нередин скомкал его и швырнул под стол, где лежали еще несколько скомканных листов.

«Я разучился писать», – сказал он себе. Повторил то же самое еще раз, но не почувствовал ни ужаса, ни горечи, о которых так любят повествовать литераторы, хоть раз в жизни испытывавшие жуткое состояние немоты, безмолвия, писательского небытия: и мир вокруг тот же, и ты сам вроде бы почти не изменился, но слова, такие послушные прежде, упорно не желают складываться в связный текст.

Нередин прошел в спальню и рухнул лицом в подушку. Нет, подумал он, все не так. Можно было бы дожать и стихию, и море и выдать неплохие – по крайней мере, вполне ладные – стихи; повозиться с рифмами, пооригинальничать, сделав их менее очевидными: «не тоскует – ликует, к примеру», а «тоскует – поцелуи». Но это была бы не поэзия, а версификация, так, подбор строчек. Он не хотел заниматься версификацией. О да, он знал приемы, которыми мог обмануть любого, даже самого взыскательного, читателя, и даже критика вроде Емельянова; но ведь себя-то самого он бы все равно не обманул. Стихи, настоящие – подлинные – стихи не шли к нему.

Алексей находился в санатории уже пять дней, но часто, слишком часто за прошедшие дни метался между надеждой и отчаянием. На следующий после приезда день ему сделалось дурно, пришел второй помощник доктора – вежливый, обходительный Филипп Севенн, тот самый, который отсутствовал, когда поэт только прибыл сюда. И Нередину показалось, что молодой доктор с ним слишком любезен, что все вокруг лгут ему, а на самом деле он обречен и все, кроме него самого, уже это знают. И, оставшись один, Алексей метался и плакал, думал: а мог бы он отдать все свои стихи только за то, чтобы снова быть здоровым? И признавал, что да, мог бы, и если бы такая сделка была возможна, он бы пошел на нее не задумываясь.

Но поэт вскоре поправился и вновь обедал в общей столовой, и вновь сидел напротив него рыжий Мэтью Уилмингтон, с которым теперь вроде бы все тоже было в порядке. И мадам Карнавале шепнула поэту, что за Мэтью после его приступа очень трогательно ухаживала хорошенькая Катрин и что, может быть, дело даже идет к помолвке, хотя доктор Гийоме этого категорически не одобряет. И еще она шепнула Нередину, что миссис Фишберн, у которой была скоротечная чахотка, нынче ночью умерла.

– Такая молодая... – вздохнула старушка. – Ей ведь было всего двадцать два года.

Шарль де Вермон посмотрел на нее с ненавистью и завел разговор о другом. Но поэт заметил, что офицер кашлял чаще, чем прежде, хоть и шутил все так же раскованно и дерзко, как в первый день. И Нередину делалось не по себе при мысли о том, что веселый, красивый и, если верить его африканским рассказам, отчаянно храбрый человек обречен. Если даже его не могли спасти врачи, на что тогда может рассчитывать он, Алексей?

С другой стороны, взять хотя бы ту же мадам Карнавале. Разве не дала она понять вчера за обедом, что ее опасения насчет рецидива старой легочной болезни оказались беспочвенными

и она скоро покинет санаторий? А ведь ей не меньше шестидесяти лет, и на вид она вовсе не такая крепкая.

Нередин в сердцах стукнул по подушке кулаком и повернулся на постели. Подобные беспочвенные гадания утомляли его и выводили из себя. Душа жаждала определенности. Он выполнял все предписания врачей – Гийоме, Шатогерена и Севенна, – принимал лекарства, пил молоко, взвешивался на весах, покорно мерил температуру, но этого было мало. Он был отравлен ожиданием окончательного решения своей участи. Жизнь или смерть, четыре шанса против шести – ничто другое его не волновало. Он думал о своей молодости, о стихах, которые мог бы написать, о своих родных... Но едва ли не больше всего, по правде говоря, он думал о баронессе Корф.

Прежде он не любил аристократов – ему претили их чванство, их снисходительность по отношению к нему, за которыми легко угадывалось пренебрежение. И он был рад узнать, что Амалия – баронесса всего лишь по мужу, а на самом деле она происходит из обедневших дворян, хотя, похоже, ей доставляло удовольствие перечислять своих предков (скорее всего, никогда не существовавших), которые участвовали в многочисленных войнах и всевозможных европейских заварушках. Еще он узнал, что ей двадцать четыре года, что у нее двое сыновей, родной и приемный, что с мужем она разведена (впрочем, о последнем обстоятельстве рассказала уже Натали, сама Амалия о своем браке не обмолвилась ни словом, как будто его и не было совсем).

Но более всего интриговала поэта некая загадочность, которая словно невидимым флером окружала баронессу Корф – красивую спокойную женщину. По ее словам, она не получила систематического образования, но тем не менее знала несколько языков и очень много читала, поражая Нередина широтой своего кругозора. Знания ее тоже были странными – так, она смеялась над ошибкой какого-то автора приключенческих романов, который путал пистолет и револьвер, и тут же очень доходчиво объяснила разницу между этими видами оружия. Она была отлично осведомлена о лекарствах и знала, когда они способны превратиться в яд; разбиралась в политике, причем не как человек, который лишь следит за событиями по газетам; знала по именам едва ли не всех европейских придворных и государственных деятелей и была в курсе самых различных обстоятельств их жизни.

Поначалу Алексей решил, что Амалия Константиновна – просто скучающая дама, которая до болезни много вращалась в высшем свете. Сведений о политике она могла, к примеру, нахвататься от своего мужа и от него же услышала, как отличать один вид оружия от другого; ну а про лекарства ей мог рассказать какой-нибудь дотошный врач. Но она не походила на светскую даму. Вернее, не походила *всего лишь* на светскую даму. Для этого она была слишком умна, слишком проницательна и слишком иронична, причем ее ирония была обращена не только на окружающих, но и на себя саму – качество, редкое в любом человеке, а для женщины редкое особенно. И Нередин терялся в догадках, что же было в ее жизни такое, что превратило ее в ту закрытую, насмешливую, в совершенстве владеющую собой особу, которую он видел сейчас. Он вспомнил золотистые искорки в ее глазах и вздохнул.

Внезапно поэту надоело бесцельно лежать на кровати. Он поднялся, пригладил волосы и надел сюртук. Утро обещало быть чудесным. Он вышел из комнат, которые занимал, – и почти сразу же натолкнулся на Натали Емельянову.

– Ах, Алексей Иванович! А я, признаться, только что думала о вас!

Алексей Иванович по натуре не был злым человеком, но, видя ее некрасивое оживленное лицо, все же тихо скрипнул зубами и пожелал про себя настырной художнице много нехорошего. Он попытался сбежать, пробормотав, что, мол, его ждут... и вообще он не смеет отвлекать мадемуазель... Однако Натали не отставала:



– Вы сегодня работали? Много написали? Вы удивительный, просто удивительный! Знаете, я бы хотела вас попросить... Вы бы не могли показать мне свои стихи? Когда вы их закончите, конечно... Я была бы так рада!

Они вышли в сад. На ветвях, на листьях, на чашечках цветов после недавнего дождя сверкали и переливались дрожащие капли влаги. По дорожкам прогуливались обитатели санатория, несколько мужчин сидели под деревом и играли в карты. Но тщетно Алексей искал среди присутствующих баронессу Корф – ее не было.

– Вы кого-то ищите? – спросила Натали, глядя на него восторженным взором.

У него едва не вырвалось: «Во всяком случае, не вас», но он все же сумел сдержать себя. Кошка подошла к нему и потерлась о его ноги. Никто не знал, откуда она взялась, но она уже несколько месяцев жила в санатории, и, хотя доктор Гийоме был против появления любых домашних животных, ему в конце концов пришлось все же сдаться и махнуть на кошку рукой. Алексей наклонился и взял ее на руки. Он не был особым любителем кошек, но ему было приятно думать, что он держит сейчас то же самое существо, которое гладила баронесса Корф.

...А баронесса Корф тем временем кончила завтракать (она поднималась с постели поздно, и завтрак приносили к ней в спальню), бегло просмотрела книги, которые ей доставили вчера из книжной лавки, и вышла из своих комнат, расположенных в дальнем крыле дома на втором этаже. Навстречу ей двигался слуга Анри, на ходу разбирая пачку писем.

– Почта уже пришла? Есть для меня что-нибудь? – поинтересовалась Амалия.

Анри со смущением признался, что еще не знает, и тут на площадке лестницы показался Филипп Севенн. Это был чистенький, вежливый молодой блондин с аккуратной бородкой, но сейчас по его лицу было видно, что он сильно раздражен.

– Анри! – напустился он на слугу. – Ну что вы себе позволяете! Синьор Маркези, итальянец, должен быть с минуты на минуту, а его комнаты еще не готовы! Сколько раз вам повторять, в самом деле?

– Но, месье доктор, – пробормотал Анри, – я полагал, что Ален...

– Ален заболел, у него приступ гастрита, – сердито сказал Севенн. – Ради бога, простите, госпожа баронесса, – повернулся он к пациентке, а затем снова обратился к слуге: – Новый постоялец уже в дороге, он едет сюда, а в его комнатах даже не прибирались. Вы знаете, как месье Гийоме дорожит своей репутацией, однако некоторым, похоже, до нее нет никакого дела!

– Но доктор Гийоме велел мне разнести почту... – попробовал было возразить слуга.

– Вот что, Анри, – вмешалась Амалия, – дайте письма мне, я сама их разнесу. А вы пока приготовьте комнаты для нового жильца (согласно неписаному правилу, пациенты санатория остерегались говорить друг о друге «больной»).

С видимой неохотой Анри вручил всю пачку писем Амалии и зашагал следом за Севенном, который, похоже, еще не исчерпал запас своих сентенций и был настроен и дальше распекать слугу.

– Да, конечно, я понимаю, неприбранные комнаты – такая мелочь! Однако люди видны в мелочах, и сами они видят только мелочи. Не забывайте об этом, Анри!

Амалия проводила мужчин взглядом. Так и есть – они направились к комнатам, которые совсем недавно занимала миссис Фишберн. Невольно Амалия вспомнила, что в санатории считалось дурной приметой занимать комнаты того, кто умер, а не того, кто выздоровел и уехал отсюда. Но ей тут же сделалось стыдно, что она думает о каких-то приметах, которые, как она считала, существуют для того, чтобы восполнять недостаток здравого смысла, и баронесса стала перебирать письма.

Почти сразу же она нашла два послания, адресованные ей, – оба были из дома, от матери Аделаиды Станиславовны. Амалия отложила их и стала разносить остальные письма. Если дверь была закрыта, она подсовывала конверт под нее, если открыта, входила и клала письмо на стол. Больше всего почты, как обычно, пришло Мэтью Уилмингтону – солидные пухлые

конверты и пакеты с печатями. На имя художницы пришли два письма из России, оба с ошибками во французском адресе. Дипломат в отставке получил надушенный конверт, надписанный кокетливым дамским почерком. Амалия вспомнила, что с виду дипломат – скучнейший человек, которого все считают примерным семьянином, и ее немало позабавил контраст между адресатом и его почтой. Амалия вообще была склонна считать, что люди состоят из противоречий, что никто никогда не является тем, чем кажется, и чем убедительнее человек играет отведенную ему обществом роль, тем чаще оказывается, что это всего лишь маска, скрывающая его причуды и мелкие – а иногда не такие уж мелкие – грешки. Но она была далека от того, чтобы выводить из данных рассуждений какую бы то ни было мораль. Жизненный опыт научил ее, что нет ничего более опасного, чем односторонние выводы, которые делаются с самыми благими намерениями. Поэтому она просто положила конверт на стол и, выходя из дверей, в коридоре столкнулась с темноволосым господином средних лет с умными глазами. Несколько писем выскользнули из рук Амалии и упали на пол. Досадуя на свою неловкость, она хотела подобрать их, но господин опередил ее, воскликнув:

– А! Госпожа баронесса! А вы что, сами разносите письма? Но где же Анри?

Амалия улыбнулась доктору Шатогерену и сказала, что Анри готовит комнаты к приезду нового жильца, итальянца, потому-то она и вызвалась ему помочь с письмами.

– Кстати, а кто он такой, новый постоялец? – спросила она.

– Мне о нем немного известно, – отвечал Шатогерен, отдавая ей подобранные с пола конверты. – Он священник, племянник какого-то итальянского кардинала. Из-за дел дяди два раза откладывал свой приезд сюда, но сегодня наконец должен появиться. Констан поехал встречать его на станцию.

Врач поклонился Амалии и двинулся дальше по коридору, а молодая женщина вошла в комнату Шарля де Вермона и положила ему на стол письмо, судя по всему, порядочно попутешествовавшее по миру, конверт был так густо усеян штемпелями и пометками о новых адресах, что первоначальный адрес (где-то то ли в Марокко, то ли в Алжире) был едва различим. Две немецкие дамы, жившие в санатории уже много месяцев, получили на двоих пять писем, которые Амалия просто подсунула под их дверь. Теперь оставалось лишь одно послание, адресованное Эдит Лоуренс, и баронесса, спустившись на первый этаж, вошла в комнату, которую занимала молодая женщина.

Подойдя к секретеру, Амалия положила конверт на видное место и повернулась к двери, собираясь уйти, но тут внимание ее привлек немного выдвинутый и перекошенный ящик стола. То ли из любопытства, то ли из любви к аккуратности Амалия выдвинула ящик, собираясь вернуть его в правильное положение, и замерла на месте.

В глубине ящика, прикрытые стопкой платков, поблескивали несколько флаконов, и цвет их содержимого показался баронессе странным. Поколебавшись, она извлекла один из флаконов на свет, тщательно осмотрела его, зачем-то достала из кармана чистый платок и вытащила пробку, которая поддалась не сразу.

– Да... – пробормотала через минуту молодая женщина, возвращая пробку на место, – очень странно... Даже чрезвычайно странно. Интересно, зачем ей это понадобилось?

## Глава 7

– Странно – не то слово, – сказал Шарль де Вермон, улыбаясь миниатюрной англичанке и успевая послать нежный взгляд Катрин Левассер. – Мои дорогие барышни, если бы я вам рассказал все, чему был свидетелем в Африке...

Натали Емельянова отвернулась.

– О боже, – вполголоса заметила она по-русски стоявшему рядом с ней поэту. – Сейчас опять начнется Африка! В который раз!

«А вам не приходит в голову, – подумал, ожесточившись, Нередин, – что делать о присутствующих замечания на языке, которого они не понимают, по меньшей мере невежливо? И, если уж на то пошло, может быть, интереснее слушать, что молодой офицер рассказывает об Африке, чем... чем смотреть на вашу немытую шею. Черт бы побрал богему! Вечные высокие мысли – и грязь под ногтями, нежелание устроить самый элементарный быт... И они еще удивляются, отчего никто не хочет иметь с ними дела!»

Поэт дернул щекой. Кошка на руках показалась тяжелой, и он, нагнувшись, опустил ее на землю. Животное покрутилось на месте, скосило глаза на высокую нескладную девушку и неспешно направилось к клумбам пестрых цветов, над которыми с жужжанием кружили пчелы.

– Самые опасные, конечно, ядовитые змеи, – продолжал разглагольствовать Шарль. – Но местные знают всяческие способы, как спастись даже после укуса кобры. К примеру, мой денщик...

– Что такое денщик? – нерешительно спросил Мэтью Уилмингтон у Катрин. Судя по всему, англичанин не слишком хорошо понимал по-французски.

– Слуга офицера, – пояснила Катрин.

Натали порывалась сказать, до чего же глупы и нелепы разговоры о каких-то змеях и денщиках. Она была уверена, что поэт поймет ее, но он отвернулся и смотрел на коляску, которая как раз подъезжала к крыльцу. На козлах сидел все тот же Констан, который несколько дней назад вез его самого со станции, а в коляске оказался тучный, несмотря на молодость, человек, черноволосый и румяный. Он то и дело бросал заинтересованные взгляды по сторонам, и, судя по выражению его лица, территория санатория, утопающего в цветах и зелени, ему скорее нравилась, чем не нравилась. Рене Шатогерен вышел навстречу новому пациенту.

– Рады вас приветствовать, синьор Маркези... Надеюсь, путешествие не было неприятным?

Итальянец улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и немного смущенно сообщил, что путешествие было замечательным, хотя вообще-то железные дороги такие непредсказуемые – все время ждешь, что поезд сойдет с рельсов или приключится еще какая оказия, однако милостью неба все обошлось, и он рад, что оказался здесь.

– Кто это? – спросила Натали, пораженная до глубины души.

Эдит, подскочив на месте, радостно вскричала:

– О! Вот и брюнет! А вы мне не верили! Я же знала, что карты не лгут!

Уилмингтон укоризненно взглянул на нее.

– Кажется, новый жилец, который все не приезжал. Итальянец.

– Священник из Рима, – поправила его мадам Карнавале, сидевшая в кресле неподалеку от розовых кустов.

– Католический священник? – вырвалось у Натали. – Ну надо же!

Шарль де Вермон пожал плечами.

– Теперь можно будет сразу же согрешить и исповедаться, – уронил он с тонкой улыбкой. – Даже ходить далеко не надо.

– Шарль! – воскликнула Катрин, притворяясь рассерженной.

Мадам Карнавале взглянула на офицера и покачала головой, но все же улыбнулась.

– А карты все-таки сказали правду! – упорствовала Эдит. – Я была уверена, что мы увидим брюнета!

– Сколько угодно, – отозвался неунывающий де Вермон. – К примеру, доктор Гийоме – брюнет, и месье Шатогерен – тоже. Их мы видим каждый день, так что ничего особенного тут нет.

– Я вовсе не то имела в виду! – горячилась Эдит. – Вы просто не желаете понять!

Из дома вышла баронесса Корф, и на какую-то долю мгновения Нередину померещилось, что она держится не так, как обычно, будто какое-то облачко легло на ее чело. Но вот она улыбнулась итальянцу, которого ей представил Шатогерен, и сказала ему несколько любезных фраз на его языке. Священник просиял и поцеловал ей руку.

– Надо же, – уронила Натали. – Духовное лицо, а ведет себя как обычный светский шалопай.

Тут Нередин все-таки не выдержал.

– Почему? – холодно спросил он. – Потому что он целует руку не вам?

Натали даже растерялась – настолько враждебным и неприязненным был его тон. Но все же нашла в себе силы ответить:

– Если вам угодно знать, я вообще против целования рук. По-моему, это старомодно... и унижает женщину.

Однако Нередин не обратил внимания на ее слова, потому что баронесса Корф и итальянец в сопровождении Шатогерена подошли к остальным пациентам. Доктор стал по очереди знакомить вновь прибывшего с теми, среди кого ему предстояло провести следующие несколько месяцев.

– Дамы и господа, позвольте вам представить: синьор Ипполито Маркези, священник церкви Святой Варвары в Риме, племянник кардинала Маркези, о котором вы, вероятно, слышали... Мадам Анн-Мари Карнавале из Антиба.

Старая дама наклонила голову.

– Рада знакомству с вами, сударь. Надеюсь, здесь вы быстро пойдете на поправку.

– Благодарю, синьора.

– Месье Уилмингтон, – продолжал Шатогерен. – Может быть, вы даже знаете – «Табачная компания Уилмингтон и сын».

Англичанин поклонился. Священник повернулся к его соседке:

– Мадам...

– Не мадам, мадемуазель, – улыбнулась она. – Я не замужем.

– Мадемуазель Левассер, – продолжил представление Шатогерен, – просто очаровательная особа. – Катрин присела и порозовела от смущения. – С госпожой баронессой Корф вы уже знакомы... Мадемуазель Эдит Лоуренс, она из Англии. Мадемуазель Натали Емельянофф, художница. Шевалье де Вермон, французский офицер.

– В отставке, – зачем-то уточнил Шарль, хотя и так было понятно.

– Месье Алексис Нередин, русский поэт. Идемте, я познакомлю вас с остальными. Или, может быть, вы хотите побеседовать с доктором Гийоме?

– О нет, продолжайте! – воскликнул итальянец. – Я очень рад, что оказался здесь, правда... Я слышан о докторе Гийоме, он лечил племянника кардинала Скьяпарелли...

Вновь прибывший говорил по-французски с довольно сильным акцентом, и его прекрасные живые глаза то и дело перебегали с одного лица на другое. Но, кроме черных глаз, во внешности его не было ничего примечательного. Хотя день был не из самых жарких, дородный священник обливался потом, и Шатогерен, которому отлично были известны взгляды его старшего коллеги на здоровое питание, подумал, что Гийоме придется повозиться, чтобы заставить нового больного тщательнее следить за собой.

– Мистер Уилмингтон, – тихо сказала Амалия, – доставили почту... Вам пришли письма и какие-то пакеты.

– О, благодарю, – пробормотал англичанин, краснея. Он извинился и двинулся к дому.

– Разве почта уже пришла? – спросила Натали.

– Да, для вас там два письма из дома.

– Откуда вы знаете? – не удержалась художница.

– Слуги были заняты, – пояснила Амалия с улыбкой. – Пришлось корреспонденцию разносить мне.

– А мне ничего не пришло? – спросил Алексей. Он знал, что ничего не получит – письмо от сестры пришло еще вчера, – но ему нравилось слушать голос баронессы Корф.

– Нет, – тон ее стал извиняющимся, – ничего.

Натали удалилась. Шатогерен повел Маркези знакомиться с прочими обитателями санатория, а офицер подошел к Амалии.

– Интересно, – проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь, – его поселят на второй этаж или на первый?

– На первый, – ответила Амалия.

Эдит зябко поежилась.

– Дурная примета, – пробормотала она. – На первом этаже жила миссис Фишберн.

– Вы верите в такие глупости? – спокойно откликнулась Амалия, и что-то в ее тоне неприятно кольнуло поэта – даже при том, что ее слова не имели к нему ни малейшего отношения.

– А вы нет? – бросилась в атаку Эдит.

– Санаторию уже восемь лет, – легко пожала плечиком Амалия, – и в каждой из комнат наверняка кто-то умирал. Но все же из тех, кто въезжал следом за ними, некоторые оставались в живых.

– И вообще, какая разница? – вмешался Шарль. – В конечном итоге все мы умрем. Так что примета оправдается, хотя она не имеет никакого значения.

Он закашлялся, и Нередин отвел глаза. Алексей ненавидел себя за то, что не может смотреть, как кривит рот и выплевывает кровь такой сильный и вроде бы цветущий с виду человек. Лицо у Эдит, присутствовавшей при этой сцене, сделалось совсем жалкое, красавица Катрин смотрела в сторону, очевидно тоже испытывая неловкость. Только Амалия молча взяла Шарля за руку, усадила его в кресло мадам Карнавале (старушка к тому времени уже ушла) и протянула ему свой платок. Шарль поднял на нее глаза.

– Спасибо, – пробормотал он. – Я... мне уже лучше.

– Может быть, позвать доктора? – несмело предложила Эдит.

– Нет, благодарю, – отрезал офицер, поднимаясь на ноги. – Со мной все в порядке. Я дойду, не беспокойтесь.

– Вам письмо пришло, – сказала Амалия мягко. – Я положила его вам на стол.

– Да? – устало выдохнул Шарль, вытирая рот тыльной стороной руки. – Наверное, это опять тетушка Адель написала. Что ей от меня надо – ума не приложу...

Он поклонился Амалии, вскинул голову и удалился. Но даже по его походке было видно, до чего он устал и измучен.

– Он все время кашляет по ночам, – неожиданно подала голос Эдит. – И постоянно ходит, не может уснуть.

– Откуда вы знаете? – поднял голову Нередин.

– Его комната как раз над моей, и я многое слышу. Он все время говорит нам, что скоро выздоровеет, но я слышала, как Севенн разговаривал о нем с доктором Гийоме. Я не все поняла, но... Они боятся, что скоро ничего не смогут сделать. Он слишком долго не обращал внимания на свое здоровье, а когда наконец пошел к врачу, было слишком поздно.

– Вот и с Мэтью то же... – вздохнула Катрин. – Английский врач с Харли-стрит объяснил ему, что у него просто лопнул сосуд в горле, а на самом деле у него уже была чахотка. Но его опекун, дядя, не хотел его отпускать, наверное, он и велел доктору так сказать...

Амалия поморщилась.

– Скорее всего, дядя просто хотел унаследовать все после племянника, – мрачно проговорила она. – До чего же все это гадко...

– Вы тоже так думаете? – робко спросила Катрин. – И Мэтью... он тоже так решил... Он уже второй год живет в санатории, управляет всеми делами отсюда. Он борется, я знаю, не хочет сдаваться. И я уверена, что его дядя ничего не получит.

Нередин хотел было заметить, что это будет только справедливо, но оглянулся на Эдит Лоуренс, и слова замерли у него на языке. Напряженное выражение лица девушки испугало его. Взгляд Эдит застыл, поперек лба вздулась косая жила. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Алексей поспешно отодвинулся назад. «Черт возьми, – подумал он, – уж не умалишенная ли она?» Он вспомнил ее истерические интонации, подобие одержимости, с которой она швыряла на стол карты во время гадания, ее слезы во время приступа у Уилмингтона недавно за обедом. Нередин уже заметил, что для миниатюрной англичанки характерны резкие перепады настроения, что она то хохочет, то рыдает; может гладить кошку, а в следующее мгновение оттолкнуть ее от себя... И все незначительные признаки, если вспомнить их, складывались в довольно неприятную картину. И снова Алексей увидел пыливый взгляд Амалии, и снова его кольнуло неприятное ощущение, что она видит его насквозь, что ни одна его мысль, ни одно его чувство не является для нее секретом.

– Кажется, погода опять меняется, – обронила баронесса.

И ее простая – незначительная, в сущности, – фраза разрядила обстановку. Лицо Эдит разгладилось, девушка тоже произнесла несколько слов о погоде. И Катрин вставила несколько слов о Гийоме, который не любит дождя, угрожающего здоровью его пациентов.

– Интересно, что сегодня будет на обед? – спросил Нередин.

Показалось ли ему или Амалия действительно слегка сжала его руку в знак благодарности за то, что он таким образом поддержал ее? «Да нет, – отмахнулся Алексей, – глупости, все мое воображение... И никакая Эдит не сумасшедшая, просто очень впечатлительная девушка, которой тяжело видеть, как вокруг нее умирают люди».

– Вы сегодня без розы, – улыбнулся он Амалии. – Подождите, я сейчас вам принесу...

Она хотела его остановить, но он уже двинулся по дорожке, огибающей дом. Дорожка вилась между кустов и в конце концов приводила на берег моря, над которым в томительном предчувствии грозы летали с пронзительными криками чайки.

Поэт сразу же нашел куст алых роз. Он исколот себе все пальцы, но сорвал самую красивую розу и чуть не бегом вернулся обратно.

– Вот, – сказал Нередин, протягивая розу Амалии. – Она для вас... почти такая же красивая, как вы.

Если бы Алексей поднял голову, то увидел бы в окне лицо Натали Емельяновой. И то, что было написано на ее лице, ему бы вряд ли понравилось.

Перед обедом поэт вернулся к себе в комнату и стал переодеваться. Он не сразу заметил, что в окружающей обстановке что-то изменилось. Вернее, не изменилось, а было не таким, как раньше. Это «что-то» подспудно беспокоило его, когда он менял рубашку и завязывал галстук. Какая-то мелочь, деталь, на которую, вероятно, вовсе не стоило обращать внимания, но все же, все же...

И, только дойдя до дверей, он понял, чего на самом деле ему не хватало, – скомканные листки с набросками стихов, лежавшие под столом, исчезли.

## Глава 8

– Может быть, их выбросили слуги? – спросила Амалия.

Но поэт покачал головой:

– Нет, я спрашивал у Анри и у остальных. Они клянутся, что никто даже не заходил в мою комнату.

Амалия пожала плечами.

– Весь вопрос в том, можно ли верить их словам, – сказала она. – Допустим, кто-то из слуг в ваше отсутствие прибрался в вашей комнате. А потом вы стали искать листки, слуга вспомнил, что вы поэт, испугался, не уничтожил ли важную для вас бумагу, и решил на всякий случай все отрицать. Вот вам одно объяснение, и вполне правдоподобное. Или другой вариант. – Баронесса слегка поморщилась. – Некто, кто дорожит вашим творчеством, пробрался в вашу комнату и взял себе ваши черновики на память. Но тут доказать что-то будет еще труднее, чем в первом случае.

Они стояли у окна столовой. Прочие обитатели санатория, разбившись на группы, вяло переговаривались между собой. Кто-то читал газету, одна из немецких дам, примостившись за угловым столиком, исписывала пятый лист почтовой бумаги. Обед еще не подали, но мадам Карнавале уже успела всем любопытствующим сообщить сегодняшнее меню, и пациенты заметно приободрились. Кормили у доктора Гийоме хорошо, на поваров он не скупился. Поэт поймал взгляд одиноко сидевшей в углу Натали – взгляд ее, как показалось Алексею, был немного обиженным. Он повернулся к баронессе. Красная роза, которую он сорвал, пламенела на ее груди.

– Я бы не хотел никому причинять неприятности, – промолвил он извиняющимся тоном. – Черновики были пустяковые, но... Мне неприятно само то, что кто-то без спросу взял мои бумаги. Ничего особенного в них не было, и тем не менее... – Он беспомощно развел руками.

– Что-то Шарля долго нет, – неожиданно произнесла Амалия.

Поэта кольнула ревность – как просто, как привычно она назвала офицера по имени, Шарлем, в то время как сам он оставался для нее «вы, Алексей Иванович». И, хотя Нередин отлично сознавал, что это глупо, он с каким-то раздражением стал думать, что шевалье не слишком умен, все рассказы его похожи друг на друга, и даже тот, где говорилось о том, как он спас дочь вождя дружественного французам племени, которого хотели убить англичане, наверняка вранье и хвастовство. Он знал, что несправедлив, но ничего не мог с собой поделать.

Но вот дверь распахнулась, и последним в столовую вошел Шарль де Вермон. Сейчас он был немного бледен, но улыбался и, подойдя к Амалии, поцеловал ей руку.

– А мы уж думали: куда вы могли деться? – полушутливо-полусерьезно проговорила молодая женщина, но и намек на веселость не было в ее глазах.

– Бога ради, извините, – сказал Шарль, – просто я искал письмо.

– Какое письмо? – поразилась Амалия.

– То самое, которое вы мне принесли. Вы же положили его на стол, верно?

– Да. Там оно и должно быть.

– Ну так вот: его там нет!

Алексей прислушался.

– То есть как – нет? – спросил он. – Может быть, его кто-то взял?

– Кому оно нужно? – возразил офицер. – Я обыскал всю комнату, но письма не нашел. Как сквозь землю провалилось!

– Хм, поразительное совпадение... – уронила Амалия. – У месье Нередина пропали бумаги, теперь у вас исчезло письмо...



Теперь пришла очередь удивляться офицеру:

– Какие бумаги? Надеюсь, ничего важного?

– Черновики моих стихов, – пояснил поэт. – Я все утро пытался сочинять, потом вышел прогуляться, а когда вернулся, листки куда-то исчезли.

– Очень странно! – воскликнул Шарль. – А больше у вас ничего не пропало?

– Я проверял, все остальные вещи на местах.

– Прошу прощения, что-нибудь не так? – За спиной офицера как по волшебству материализовался доктор Севенн.

Алексею не хотелось посвящать молодого человека в подробности происшедшего. Для себя он почти уже решил, что черновики наверняка взяла на память художница, и не собирался придавать неприятному факту больше значения, чем он того заслуживал. Но Шарль де Вермон уже рассказывал доктору подробности двух пропаж в санатории. Филипп взволновался, попросил слугу позвать Шатогерена и немедленно ввел его в курс дела. В санатории появился вор! Этого еще не хватало! Надо немедленно допросить слуг, всех, кто мог что-либо видеть! Доктор Гийоме только что уехал к пациенту по срочному вызову, и надо же было, чтобы такое случилось в его отсутствие... Даже борода молодого врача встала дыбом от возмущения.

– Успокойтесь, Филипп, – вмешался Шатогерен. А затем обратился к поэту: – Скажите, месье, вы очень жалеете о пропаже своих черновиков?

– Да, в общем-то, нет, – сознался Нередин. – Просто как-то неприятно...

– Понятно, – кивнул врач. – Теперь вы, сударь. Скажите, письмо было очень важным?

– Откуда мне знать? – пожал плечами офицер. – Я вообще в глаза его не видел. Скорее всего, его прислала тетушка Адель, которая мне пишет чуть ли не каждый день, так что не думаю, что потеря большая.

– Оно было адресовано в Африку, – сказала Амалия.

– В Африку? – озадаченно переспросил Шарль. – Позвольте, так что, письмо ехало за мной из Алжира в Париж, из Парижа в Шантийи и потом сюда? Нет, тогда оно не может быть от тетушки Адели, та прекрасно знает, где я нахожусь. Может быть, какой-нибудь мой сослуживец написал мне? Но в полку был известен мой парижский адрес. – Он покачал головой и обратился к Амалии: – А вы не видели, от кого было письмо?

– Честно говоря, я не запомнила, – призналась Амалия. – Конверт весь был в штампах и почтовых пометках, на нем едва можно было разобрать даже ваше имя.

– Поразительно, – вздохнул офицер. – Ну если в послании было что-то о наследстве от дядюшки Грегуара, то я буду безутешен.

– В самом деле, там не могло быть что-нибудь ценное? – внезапно заинтересовалась Амалия. – Что-нибудь, из-за чего письмо стоило украсть?

– Сударыня, неужели вы приняли всерьез мои слова о возможном наследстве? – с комической серьезностью воскликнул Шарль. – Успокойтесь, прошу вас. Конечно, дядюшке Грегуару уже хорошо за шестьдесят, но он, знаете ли, вроде тех дубов, которые только разрастаются вширь, и никакие жизненные бури им нипочем. Он уже похоронил дочь и одну из жен... или одну из дочерей и двух жен, точно не помню. Полагаю, он и меня переживет. И если завтра вспыхнет эпидемия чумы или какой-нибудь холеры, то дядя наверняка окажется в числе уцелевших и все так же свирепо будет ругать правительство, которое, по его словам, ничего не стоит. Да и потом, даже если мне повезет и он преставится прежде меня, не сомневаюсь, что завещает мне дядюшка лишь пару табакерок и какую-нибудь чепуху, а основное состояние отпишет господину Пастеру или господину Коху. Он мизантроп и считает, что все кругом – болваны, а ученые разве что поменьше болваны, чем прочие.

– И все же мне не нравится, что письмо исчезло, – откликнулась Амалия, которую шуточный тон собеседника ничуть не убедил. – Я хорошо помню: положила его на стол, и оно не

могло никуда деться. Разве что окно было открыто и какой-нибудь сквозняк... Но окно было закрыто, – добавила она.

Доктор Севенн повторил, что присшествие очень странное, в санатории вообще никогда ничего не пропадало. Но доктор Шатогерен покачал головой:

– Вы только недавно заступили на должность, Филипп, а я тут уже несколько лет. Был однажды неприятный случай с одной особой, которая страдала болезненной манией присваивать чужие вещи.

– Клептоманией? – быстро уточнила Амалия.

– Именно так. Конечно, доктор Гийоме в конце концов все узнал и выставил ее за дверь. Насколько я помню, она брала шпильки, пуговицы и тому подобную мелочь. – Он поморщился. – Обещаю вам, мы разберемся в случившемся. Если виновны слуги, они будут наказаны; если кто-то из пациентов – мы тоже не оставим происшествие без внимания. А теперь, господа, и вы, сударыня, прошу к столу. Сегодня наш повар Жюль особенно постарался!

## Глава 9

Четыре мятых листка с набросками – и письмо.

Кому понадобилось их брать? И самое главное – зачем?

Если, допустим, черновики взяла Натали, то при чем тут письмо? И вообще, что такого может быть в письме, чтобы им пожелал завладеть посторонний?

Алексей чувствовал, что маленькая тайна занимает его все больше и больше. Стихи не ладились, он скучал, не находил себе места, и тут судьба подбросила ему приключение. Не самое, допустим, интересное приключение, но все-таки...

«Она или не она? – думал он, глядя на Натали, которая ела, широко расставив локти. – Но при чем тут де Вермон? Зачем тогда письмо?»

И внезапно он понял. Ну конечно же... Дело вовсе не в письме, а в баронессе Корф. Письмо пропадает, а всем известно, что разносила письма баронесса. На кого думают тогда? На нее, разумеется. Начнут гадать: может быть, в письме были деньги, может быть, она нарочно украла... Вот поэтому Натали и стащила его. Потому что она ненавидит Амалию... за то, что та является всем, чем Натали хотела бы быть. И потом, пропавшее письмо идеально отводит подозрения от нее самой. Всем же известно, что французский офицер для нее ничего не значит.

Это была не то чтобы логичная версия, а версия прямо-таки неуязвимая, блистательно объяснявшая все неувязки и противоречия. В самом деле, никто из обитателей санатория, кроме Натали, не был фанатичным поклонником русского поэта – по крайней мере, до такой степени, чтобы таскать его поэтические наброски. Да никому подобное просто в голову прийти не могло!

Успокоившись насчет того, кто был вором, Алексей задумался, как бы ему теперь вывести художницу на чистую воду.

«Что, если дать ей понять, что мне все известно? – размышлял он. – В романах, опять же, такой прием всегда срабатывает. Только неизвестно, можно ли романам вообще доверять... – Поэт заметил, что Натали не поднимает глаз от тарелки, и приободрился: – Ага, мы уже страдаем, у нас на душе беспокойно, потому что совесть нечиста... Наверняка она должна как-то себя выдать. Стоит только на нее сурово посмотреть...»

И он посмотрел. Но продолжение оказалось вовсе не таким, как он ожидал. Натали вся засияла смущенной улыбкой. Заметив, что в течение всего обеда поэт не сводит с нее взгляда, она, конечно же, истолковала его внимание самым выгодным для себя образом. А сконфуженному Нередину немедленно захотелось провалиться сквозь землю.

«Нет, это просто... просто черт знает что! – в сердцах подумал он. – Или она совершенно лжива и бессердечна, или... или все-таки ни при чем. – Он еще раз посмотрел на лицо Натали и убедился, что на нем нет и тени угрызений совести или каких-то душевных мук. – Ей-богу, вот если бы я не был уверен, что кража – ее рук дело, то ни за что бы не поверил, настолько у нее безмятежный вид. Однако большой вопрос, можно ли вообще верить женщинам!»

Погрузившись в раздумье, поэт не сразу расслышал, что Эдит обращается к нему с каким-то вопросом, и невпопад брякнул: «Да, конечно». Англичанка воззрилась на него с изумлением, и Нередин очнулся.

– Что такого я сказал, Амалия Константиновна? – быстро спросил он.

– Вы только что подтвердили, что Россия будет воевать с Англией, – безмятежно проговорила Амалия, однако глаза ее улыбались.

Но политика в то мгновение совсем не занимала поэта.

– А мне кажется, что Россия будет воевать с Германией, – веско уронил Уилмингтон. – На стороне Франции.

– Война – ужасная вещь, – вздохнула Катрин, и ее красивые глаза затуманились.

– Может быть. Но Франция наверняка выступит против Германии, – продолжал англичанин. – Не зря же их канцлер заявил, что эта война может случиться через десять лет, а может, и через десять дней.<sup>8</sup>

– Да какая разница, в конце концов, кто с кем будет воевать? – вырвалось у Нередина нетерпеливое.

Но он сразу же понял, какую ошибку совершил, потому что почти все немедленно ополчились против него – с таким жаром, как будто именно за их столом решалась судьба Европы. С одной стороны, Германия и Австрия, с другой – Франция, которая лишилась Эльзаса и Лотарингии и теперь готова перевернуть небо и землю, чтобы вернуть их обратно. Но Франция слишком слаба, чтобы выступить в одиночку, и поэтому вербует союзников, но все тайные договоры за семью печатями... Однако ведь тайны на то и существуют, чтобы их раскрывали. Будет война, потому что Германия не отступится от своих притязаний, потому что Англия не допустит, потому что Россия...

– Россия традиционно связана с Германией, – веско уронила мадам Карнавале. – Взять хотя бы Екатерину Великую...

– Если уж на то пошло, королева Виктория наполовину немка, – насмешливо парировала Амалия.

– Сударыня, я попросил бы вас! – возмутился Уилмингтон. Его негодованию не было предела, как будто баронесса сказала что-то неприличное.

– А у нас больше нет императора, – вздохнул Шарль. – Ни великого, ни малого. Даже претендент на королевский трон – и тот умер<sup>9</sup>. И к чему все это приведет, непонятно.

– А я считаю, что России совершенно незачем воевать за чужие интересы, – резко сказала Натали. – Пусть Европа сама разбирается со своими проблемами, нам собственных хватает.

И Нередина поразило, до чего точка зрения неприятной художницы созвучна его собственным мыслям по данному поводу.

– Но, к сожалению, не все думают, как вы, – отозвался Уилмингтон. Как и большинство англичан, раз начав говорить о политике, он уже не мог остановиться. – Одним словом, война будет непременно, вопрос только – когда.

– Вы так говорите, как будто собираетесь до нее дожить, – буркнул поэт.

Он сказал именно то, что думал. К чему все разглагольствования о европейских интересах и мировом господстве, когда у половины беседующих вместо легких решет, когда в каждой комнате дома, где они живут, затаилась смерть, когда неизвестно, встретятся ли спорщики завтра за столом в прежнем составе? Зачем бесполезное переливание из пустого в порожнее, когда есть дела куда более важные – почитать интересную книгу, до которой раньше не доходили руки, сорвать красную розу для хорошенькой женщины, просто дышать, просто жить и наслаждаться жизнью? Разве обязательно надо выяснять, куда кренится политический флюгер той или иной страны, спорить, тратить время и нервы? Не лучше ли оставить политику политикам, а себе – жизнь, единственную, неповторимую, которая и так висит на волоске?

Нельзя сказать, что Нередин был совсем уж не прав; но форма, в которую он облек свои мысли, была определенно неправильной. И то, что у него вырвалось, получилось нехорошо, грубо, по-скифски. Катрин медленно положила вилку. Тяжелые щеки Уилмингтона задрожали, он дернул нижней челюстью и поднялся из-за стола.

– Простите, у меня что-то больше нет аппетита... прекрасный обед... да.

«Я свинья», – мрачно подумал Алексей. Ему было невыносимо стыдно.

---

<sup>8</sup> Речь Бисмарка в рейхстаге 11 января 1887 года.

<sup>9</sup> Великий – Наполеон I; малый – Наполеон III (прозвище ему дал Виктор Гюго); претендент – граф Шамбор, так называемый Генрих V, который был в шаге от занятия престола, но никогда не правил.

Шаркая ногами, Уилмингтон вышел за дверь. Катрин замешкалась, но в конце концов бросила салфетку на стол и устремилась следом за ним.

– Мне кажется, сегодня будет дождь... – нерешительно начала Эдит.

– Определенно, – поддержала ее мадам Карнавале.

Амалия поглядела в окно.

– Доктор Гийоме вернулся, – сказала она.

И все с облегчением ухватились за новую тему. Интересно, к кому доктор ездил? Ведь он же терпеть не может покидать пределы санатория...

Но вот принесли кофе, и все расслабились. Кто-то отправился к себе подремать после обеда, одна из немецких дам уселась возле окна и принялась вязать. Как она объясняла поэту двумя днями раньше, вообще-то она терпеть не может вязать, но это занятие хорошо успокаивает нервы.

К Нередину подошла Натали.

– Алексей Иванович... Вы еще не надумали насчет портрета?

– Нет, – ответил он, глядя в сторону. Он до сих пор переживал из-за того, что сказал Уилмингтону. Ну англичанин, ну не слишком приятный, рыжий и чванный... И что? Вовсе он не заслужил с его стороны такого отношения. – Мне придется поработать, восстанавливать строки...

– Какие строки? – удивилась Натали.

Он повернул голову и внимательно посмотрел в ее лицо. И похолодел.

Она *ничего* не знала. Понимаете, ничего... Она даже не подозревала, что кто-то стащил его наброски, которые он высокопарно назвал строками. Натали ни при чем, теперь он был совершенно убежден.

Но если она ни при чем, то кто же тогда?

– Я случайно уничтожил свои черновики, – как можно более небрежно объяснил он. – Теперь придется писать заново...

– А!

И все же в ее восклицании было больше недоумения, чем понимания...

Амалия вышла в сад. В ветвях деревьев переговаривались птицы, легкий ветерок шелестел листья, и они покачивались словно от невидимого смеха. Воробей сел на дорожку, чирикнул, пропрыгал несколько шагов, вильнул хвостом и улетел.

«Ох уж мне эти поэты, – с досадой думала баронесса, – ох уж эти ранимые души, которые сами на поверку оказываются такими бестактными... И Нередин не лучше прочих, даром что сейчас едва ли не первый поэт России. Зачем он обидел англичанина? Того и так жизнь не баловала, мать умерла в родах, отец – когда юноше было пятнадцать лет, вечно он среди чужих людей, вечно один... и тяжелая болезнь, которая теперь уже не отступит, достаточно посмотреть на его лицо... Фи, Алексей Иванович, как некрасиво было с вашей стороны намекать бедняге, что ему не так уж много осталось!»

Она нащупала рукой красную розу на корсаже, которую ей принес поэт, и, сорвав ее, сердито отбросила на траву.

...А в комнате Уилмингтона тем временем сидела Катрин и гладила по голове несчастного, который лежал на диване и рыдал так, словно у него разрывалось сердце.

– Я так и знал... так и знал... Но они же ничего не говорят... наши врачи... И я даже не знаю, сколько мне осталось... А я не хочу умирать! – Он поднял голову, его некрасивое одутловатое лицо было залито слезами. – Катрин, я больше так не могу... И не хочу. Черт с ним, с доктором Гийоме и его запретами, ведь не он же умирает от чахотки! Скажите, Катрин, – он собрался с духом, – вы выйдете за меня замуж? Вы знаете, как я к вам отношусь, вы единственный человек, который... который... – Он искал слов и не находил. – Вы выйдете за меня? Я вовсе не беден, даже наоборот... Обещаю, вы не пожалеете!

Катрин вздохнула.

– Да, – после паузы промолвила она.

## Глава 10

– Должен признаться, – сказал Шарль де Вермон, – ваши слова не выходят у меня из головы.

– Вы о чем? – спросила баронесса.

– О пропадающих ценных письмах. Вот уже битых полчаса я ломаю голову над тем, кто из моих родственников мог оставить мне наследство, – и, однако же, не нахожу никого, кто был бы способен на такую любезность.

Они сидели в библиотеке – просторной комнате, целиком заставленной по стенам старинными шкафами с книгами. Амалия рассеянно листала «Век Людовика XIV» Дюма с прелестными иллюстрациями и буквицами работы Лезестра. Что касается Шарля, то он слегка выпадал из окружающей обстановки, потому что его куда труднее было представить себе с книгой в руках.

В дверь без стука вошел Ипполито Маркези. Заметив баронессу и ее спутника, священник в нерешительности остановился.

– Входите, месье, – приветствовал его Шарль. – Как видите, это библиотека. В основном тут книги, которые подарил санаторию герцог Савари, и я уверен, здесь найдется литература на любой вкус.

– Большинство книг расставлено по авторам, – добавила Амалия. Священник подошел к шкафам и стал рассматривать корешки.

– Гм, – вполголоса промолвил Шарль, – он стоит возле буквы Б. Стало быть...

– Стало быть? – в тон ему подхватила Амалия.

– Стало быть, ему нужен «Декамерон» Боккаччо... или я не Шарль де Вермон, – тихо ответил офицер.

Но итальянец уже отошел к другому шкафу.

– Вы проиграли, Шарль, – заметила Амалия. – Он уже возле буквы М. Держу пари, он ищет книгу, которую написал его дядя кардинал. «О необходимости целомудрия» или что-то в таком роде.

Шарль де Вермон самым непочтительным образом фыркнул.

– Если эту необходимость надо обосновывать в увесистом томе... – начал он.

– Шарль! – выразительно прошептала Амалия, делая большие глаза. – Вам помочь, святой отец? – спросила она, повышая голос.

– Благодарю вас, не стоит, – отозвался священник. – Я искал здесь дядину книгу, но ее, похоже, тут нет.

– Зато тут много других книг, – объявил Шарль. И даже столь простую фразу он ухитрился произнести самым что ни на есть двусмысленным тоном.

В дверь постучали, и через мгновение на пороге показалась Натали Емельянова.

– А, Амалия Константиновна, вы здесь! Вы уже слышали новость?

– О чем? – спросила молодая женщина.

– Мэтью Уилмингтон и Катрин Левассер собираются пожениться.

– Что такое? – спросил Шарль, и Амалия перевела на французский слова Натали.

– А он взял Монтеня, – объявил офицер, кивая на священника, который с трудом извлек тяжелый, в металлической окантовке, том с полки и затем едва не уронил его на пол. – Значит, Матьё и Катрин... Что ж, все к тому и шло. Он с нее глаз не сводил.

– Вряд ли это плохо, – продолжала Натали. – Говорят, для чахоточных женщин полезно рожать.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Одно из заблуждений тогдашней медицины, которое стоило жизни многим пациенткам.



– Доктор Гийоме так не считает, – спокойно заметила Амалия.

– А что случилось с черновиками Алексея Ивановича? – внезапно спросила художница. – Мне он сказал, что случайно уничтожил наброски, а доктор Севенн проговорился, что их украли. Что с ними на самом деле произошло?

– Похоже, слуги проявили излишнее усердие, – уклончиво ответила баронесса. – Ничего особенного.

Натали сердито передернула плечами.

– Это вы так говорите. Но мы же не знаем, какие стихи могли быть на тех листках. Хотя вам, наверное, неважно.

– Почему? – спросила Амалия.

Натали нерешительно взглянула на нее.

– Мне кажется, вам больше по вкусу какой-нибудь Фет, чем Нередин. «Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело».

– «Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло», – закончила Амалия. – Но вы не правы, стихи Нередины я тоже люблю.

Вновь на душу нахлынули звуки,  
Бередя застарелые раны.  
Это музыки нежные руки  
Прикоснулись к лицу фортепьяно.

Да, все будет, я верю, я знаю,  
Если даже забвенье бессильно  
Перед нашей любовью... Смолкает  
Лепет клавиш. Вы правы – все было.

Шарль беспокойно шевельнулся. Он понял, что Амалия процитировала какие-то стихи, и ему было досадно, что он не понимает их смысла. Священник, прижимая к груди том Монтеня, смотрел на баронессу во все глаза.

– Да, «Северные поэмы» – хорошая книга, – кивнула Натали. – Но...

– Но вы предпочитаете «Деревянную Россию», – заметила Амалия. – Ту, которая из цикла «Прошлое»:

Перелески, ветер синий,  
Гунны, скифы, трын-трава,  
Деревянная Россия,  
Деревянные дома.

Не река порой весенней  
Потеряла берега —  
Деревянные рассветы,  
Деревянные снега.

На березе, на осине  
Жаром марево горит —  
Деревянная Россия,  
Деревянные дожди.

Баронесса сделала паузу. Натали кивнула и продолжила:

Не спеши, наездник вражий,  
Спрячь свой меч, колчан и щит —  
Деревянная держава,  
Деревянные кресты.

Мир из слабости и силы,  
Мир чудес и простоты —  
Деревянная Россия,  
Деревянный монастырь.

Время жнет и сеет жизни,  
Вечность — капелька росы —  
Деревянная Россия,  
Деревянные часы...

— Это гениально! — воскликнула художница искренне. — Просто гениально! Среди всех прочих... которые... — она делала руками беспомощные жесты, словно пытаясь восполнить недостающие слова. — «Средь шумного бала, случайно...»<sup>11</sup> и «У царицы моей есть высокий дворец...»<sup>12</sup> — вроде бы красиво и поэтично, но так искусственно, так оторвано от жизни... и вдруг...

Девушка заметила, что Амалия смотрит куда-то ей за спину, и обернулась. В дверях стоял Алексей Нередин, но по выражению его лица нельзя было понять, слышал ли он, как две молодые женщины читали его произведения.

— А мне нравятся стихи графа Алексея Толстого, — неожиданно промолвил он. — В нашей поэзии он продолжатель пушкинской традиции, что дорогого стоит.

Он посторонился, пропуская Ипполито Маркези, который отвесил общий поклон присутствующим и ушел, унося с собой Монтеня.

— У вас очень музыкальный язык, — объявил Шарль Амалии. — Но очень непонятный. Баронесса пожала плечами.

— Если языки не учить, то все они так и останутся непонятными, — с восхитительной самоуверенностью парировала она.

— О, помилуйте! — вскинулся Шарль. — Разве я вам не рассказывал, как из меня хотели сделать аббата и только полная неспособность к латыни меня и спасла? Иначе мне бы тоже пришлось писать, как тому кардиналу... о необходимости воздержания. Да я бы умер прежде, чем взялся за перо!

Амалия с укоризной поглядела на него.

— «Деревянная Россия» — первое ваше стихотворение, — горячо заговорила Натали, обращаясь к поэту. — Вы помните, как вы его написали?

Алексей поморщился. Вовсе не первое — до него были десятки, если не сотни, опытов, но полноценными стихами он их не считал. Так, пробы пера, имеющие значение лишь для автора. И рождение этого стихотворения тоже не запомнилось ему; сохранилось лишь ощущение какой-то невероятно унылой поездки по делам полка — то ли на подводах по бесконечной грязной дороге, то ли на поезде. В памяти остались плетни, дома, кладбища... А может быть, и не было никакой поездки, он сам ее выдумал уже потом, когда его стали осаждать со всех

---

<sup>11</sup> Начало стихотворения А. К. Толстого.

<sup>12</sup> Начало стихотворения В. С. Соловьева.

сторон вопросами. Просто он написал стихотворение, которое ему самому понравилось, дал ему отлежаться, выправил его, отправил в журнал и забыл. А потом...

А потом грохнул и лопнул оглушительней фейерверка неопикуемый скандал, и имя безвестного до того поручика Алексея Нередины прогремело на всю Россию. Номер журнала зачитывали до дыр, стихотворение переписывали, цензора, который пропустил шесть строф с пометкой «Из цикла «Прошлое», вызвали в цензурный комитет для дачи объяснений, а вокруг автора закружилась и вовсе какая-то непонятная чехарда. Каков смельчак, восхищались либералы, вот прямо так, с плеча, взял и рубанул правду-матку, что держава-то деревянная, да еще протащил такую крамолу сквозь цензуру, усыпив ее подзаголовком цикла... Каков мерзавец, вопили ретрограды, гуннов и скифов ему подавай, нет чтобы написать, как Наполеону по шее накустыляли... Это не стихотворение, а вызов здравому смыслу, захлебывались желчью критики. Где, интересно, автор мог увидеть синий ветер? Там же, где и зеленых чертей? Не остался в стороне даже сатирический поэт Дмитрий Минаев, пустивший по рукам эпиграмму про стихотворца «с деревянной головой», которому все видится исключительно в деревянном свете.

В полку тоже было неладно: одни офицеры подходили и поздравляли Нередины, и было видно, что они действительно на его стороне, другие же, начиная с полковника, куксились и при встрече разговаривали исключительно сквозь зубы. Алексея же вся возня вокруг его стихотворения порядком удивила и озадачила. Его не покидало стойкое ощущение, что все, абсолютно все, прочитали в его стихах совершенно не то, что он хотел сказать. Одни видели в его произведении только фигу в адрес существующего строя, другие – оскорбление едва ли не лично себе. Но сам он не имел в виду ничего, кроме того, что было в стихотворении сказано, и его раздражало, что любые попытки объяснить это наталкивались на реплики вроде: «О да, конечно, но вы же не можете говорить иначе!»

А потом его стихотворение прочитал государь и будто бы сказал: «Неплохо пишет». Может быть, даже и не прочитал и, может быть, ничего такого не говорил, но все уверовали, что так оно и было. И либералы сразу же как-то потускнели, и ретрограды подобрались на глазах. Потому что, когда крамола одобрена сверху, это уже не крамола. И будьте благонадежны, все толковые государи отлично сие знают. Как и то, что только слабые правители воюют с поэтами.

А Нередин ушел со службы и начал сочинять стихи – теперь уже не от случая к случаю, а как настоящий поэт. За пять лет он выпустил три сборника – «У камина», «Северные поэмы» и «Огненная башня». И все они имели успех; гимназистки и влюбчивые барышни заучивали наизусть лирические стихотворения, более основательные читатели жадно впитывали его «Все забыть, раствориться в покое...» или «Этот город, это небо...», которые вполне могли сойти за обличительные ламентации. Иные его стихи стали популярными романсами, и самым знаменитым стал тот, музыку для которого написал известный композитор Чигринский. Стихотворение было из первого сборника:

Когда сидишь ты ночью у камина  
И вспоминаешь умерших друзей,  
Золу воспоминаний кто незримый  
Всех чаще ворошит в душе твоей?

Кого ты видишь в пепельном налете  
Под гаснущими струйками огня,  
Которые в нестройном хороводе  
Над угольками пляшут, мглу дразня?

Кого зовешь ты в темноте крошечной,  
Чье имя гаснет на твоих губах?

Тебя он видит, слышит и, конечно,  
Одну тебя любил он, лишь тебя...

Алексей вспомнил, что романс очень любила К. и исполняла его чаще остальных. Интересно, будет ли она *вот так* вспоминать его, когда поэт умрет?

«Нет. Не будет. Потому что стихи – всего лишь красивые стихи, а жизнь... Жизнь – это жизнь», – ответил Нередин сам себе.

И увидел прямо перед собой глаза Натали. Кажется, она о чем-то его спрашивала. Ах да, как он написал «Деревянную Россию».

И как ей объяснить, что теперь он вовсе не считал то стихотворение таким уж замечательным, что его представления о поэзии с тех пор расширились, что он открыл для себя другие вершины и другие горизонты, что его интересуют новые возможности стиха – верлибры и опыты французских символистов? Как втолковать, что для него вообще стихи имеют значение, лишь пока он их пишет, и что в момент, когда они рождаются для читателя, для него они уже мертвы? И она все еще хочет знать, как он сочинил то давнее стихотворение?

– Я не знаю. – Впервые в жизни Нередин мог себе позволить быть откровенным. – Стихи сами ко мне приходят. Очень трудно объяснить...

«Или не приходят», – закончил он про себя. Но последнее им было и вовсе ни к чему знать.

На самом деле Алексея куда больше волновало другое.

– А ваша роза, сударыня? – спросил он у Амалии. – Где она?

Баронесса Корф не любила то, что про себя называла «детской ложью», но сейчас ей все же пришлось солгать.

– Кажется, я ее потеряла, – сообщила она с самой очаровательной улыбкой.

– Тогда я принесу вам другую, – объявил поэт, поворачиваясь к двери.

– Не стоит, Алексей Иванович, – бросила ему вслед Амалия. – Будет гроза.

Но поэт не слушал ее и через несколько минут уже шел по дорожке, огибающей дом.

Ветер раскачивал кусты с такой яростью, словно хотел выдрать их с корнем. Чайки, летавшие над морем, жалобно кричали.

Алексей сорвал розу и уже собрался уходить, когда его внимание привлекло опрокинутое кресло впереди, на самом краю скалы. Берег здесь круто обрывался в море, и до воды было не меньше двадцати метров.

«Это, должно быть, кресло мадам Карнавале... – сообразил Нередин. – Кто-то еще говорил, что старушка любит сидеть на берегу одна... Но где же она?»

А да, наверняка уже в доме, тем более что гроза разразится с минуты на минуту. Поэт подошел к креслу, собираясь поднять его и отнести подальше от края скалы, чтобы его не сдуло в море, и машинально посмотрел вниз.

Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы осмыслить то, что Алексей увидел. Но зато теперь он точно знал, что мадам Карнавале никуда не ушла. Ее тело покачивалось на волнах внизу, мокрая юбка облепила ноги. Вокруг головы колыхалось алое пятно.

## Глава 11

– Уверен, это был несчастный случай, – сказал доктор Гийоме. Он подошел к столу, взял бутылку и налил в бокал немного вина. – Выпейте, месье Нередин, вам не повредит.

Поэт принял бокал негнувшейся рукой. Глупо, твердил он себе, просто ни с чем не сообщено. Ведь он служил в армии, знал, что такое смерть, видел ее в лицо. Но отчего-то нелепая гибель безобидной старушки произвела на него такое впечатление, что поэт до сих пор не мог прийти в себя. И еще он в первое мгновение подумал: неужели ей захотелось поплавать... Но Гийоме, конечно, о той глупой мысли говорить не стоит.

Стукнула дверь, и в кабинет вошел доктор Филипп Севенн, нервно пощипывающий белокурую бородку. Сейчас он был мрачен и строг, как какой-нибудь служащий похоронного бюро.

– Больные уже знают? – спросил у него Гийоме.

Молодой помощник кивнул.

– И, конечно, они взбудоражены, – скорее утвердительно, чем вопросительно, промолвил главный врач.

– Их можно понять, – заметил Севенн. – Совсем недавно она говорила, что здорова и собирается покинуть санаторий, а теперь...

– Да, – уронил Гийоме и стал смотреть в окно. – Полиция уже приехала?

Севенн кашлянул, поправил манжету на рукаве и кивнул:

– Инспектор Ла Буле из города. Шатогерен с ним разговаривает. Я полагаю, у нас не будет хлопот.

– Какие могут быть хлопоты? – пожал плечами Гийоме. – Старая дама сидела на краю обрыва. Возможно, у нее закружилась голова, возможно, женщина потеряла сознание и упала вниз. А внизу острые скалы, которые видны только при отливе. Смерть наступила, я полагаю, практически мгновенно... Что еще?

– Наверное, надо сообщить родственникам, – нерешительно промолвил Севенн. – Я не очень хорошо знал мадам Карнавале, но наверняка у нее должен быть... хоть кто-нибудь. Вы упоминали, она из Антиба, что совсем близко. Если родные захотят приехать на похороны...

– Хорошо, я пошлю им письмо, – вздохнул доктор Гийоме.

– Да, месье, должен вам сообщить, что граф Эстергази снова прибыл, – добавил помощник. Затем покосился на безучастного поэта, обмякшего в кресле. – Сказал, что пациентка опять плохо себя чувствует.

– Невыносимо, – забурчал Гийоме, – просто невыносимо! Я же только что был у них! Что мне теперь, насовсем к ним переселиться? Кроме того, все это вздор, женские капризы. Она вбила себе в голову, что умирает от чахотки. Я прослушал ее – отличные легкие, ни малейшего следа болезни. Она придумывает себе несчастья, потому что в ее жизни что-то не ладится. Скорее всего, женщина несчастна со своим мужем. Но с подобным, уж простите, не ко мне!

Алексею наскучили посторонние разговоры. Он залпом выпил вино, поднялся с места и поставил бокал на поднос.

– Извините, господин доктор... но, если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к себе.

Господин доктор не возражал, и Алексей, откланявшись, ушел. В коридоре он столкнулся с Рене Шатогереном.

– Я вас искал, месье, – сказал врач. – Там полицейский инспектор хочет с вами побеседовать, потому что вы нашли тело. Ничего особенного – простая формальность. Он в библиотеке, заполняет бумаги.

Поэт ответил – впрочем, без особой охоты, – что будет рад помочь полиции, и отправился в библиотеку.

Шатогерен вошел в кабинет, где находились два других врача. При его появлении они как раз спорили по поводу вздорной пациентки, жены графа.

– Я уже сказал ей, – раздраженно твердил Гийоме, шагая из угла в угол, – что если она так опасается за свое здоровье, ей лучше поселиться у нас в санатории, где у меня будет возможность наблюдать ее двадцать четыре часа в сутки. Так нет, мадам устроилась на самой дальней вилле с целым штатом бестолковой прислуги и день и ночь изводит мужа своими жалобами. Да, и она сказала, что ни за что не поедет в санаторий, потому что не любит находиться в обществе посторонних. Ну просто замечательно, честное слово, замечательно! В конце девятнадцатого века верить, что ты сделана из другого теста, потому что твой муж какой-то там божемский граф...

– Вы говорите о жене месье Эстергази? – поинтересовался Шатогерен. – Кстати, он заплатил вам за ваши визиты?

– Да, – буркнул Гийоме, – и даже больше, чем мы договаривались. Но это ничего не значит. Мадам ничем не больна, и ездить туда – только зря тратить время. У меня и так достаточно больных, которым моя помощь куда нужнее. Не стойте, Рене, садитесь... Что вам сказал инспектор?

Шатогерен сел.

– Конечно, несчастный случай, – сообщил он. – Но огласка может нам сильно повредить. Поэтому я настоятельно попросил его держать язык за зубами и ничего не сообщать прессе. Сами знаете, как репортеры способны преподнести любое происшествие. Тем более что есть люди, которые спят и видят, как бы закрыть нашу лечебницу.

– Можете мне не говорить, я в курсе наших ученых нравов, – улыбнулся Гийоме. – Жаль, конечно, что все так обернулось, но в происшедшем нет нашей вины. Вы следите за Уилмингтоном и шевалье де Вермоном, как я вас просил? Из всех пациентов они двое внушают мне больше всего опасений.

– Мне тоже, – кивнул Шатогерен. – Да! Уилмингтон огорошил меня сегодня заявлением, что собирается жениться, и как можно скорее.

– Он сошел с ума? – изумился Гийоме.

– По-моему, он просто хочет с пользой прожить оставшиеся дни, – вставил Севенн с улыбкой.

– Не вижу в самоубийстве никакой пользы, – пробурчал Гийоме. – И кто же счастливая невеста? Уж, верно, не мадам Корф?

– Почему вы так думаете? – с любопытством спросил Шатогерен.

– Потому, что она абсолютно разумный человек, – вот почему, – отозвался Гийоме. – Приехав сюда, баронесса сказала: «Доктор, я хочу выздороветь, ради чего готова следовать всем вашим указаниям». Если бы все пациенты были такие, как она, доктора бы на них молились. Это вам не мадемуазель Натали, которая простудилась и чуть не умерла весной, потому что тогда стояла прохладная погода, но ей, видите ли, позарез нужен был закат над морем для картины.

– Может быть, вам стоит поговорить с Уилмингтоном? – предложил Шатогерен. – Вы же говорили, что сейчас станет окончательно ясно, рубцуется ли легкое или процесс все-таки пойдет дальше. У него пока еще есть шансы остаться в живых.

– Да, но не в том случае, если он женится, – возразил Гийоме. – Я два года потратил на то, чтобы остановить процесс. Пока Уилмингтон может жить только в санатории под моим присмотром. Если он вернется к обычной жизни, то погибнет.

– А что мне сказать графу Эстергази? – напомнил Севенн. – Он уверен, что вы бросите сейчас все дела и поедете с ним на виллу. Я ему сказал, что у нас произошел несчастный случай, но мое сообщение его не остановило.

– Я никуда не поеду, – раздраженно промолвил Гийоме. – Госпожа графиня совершенно здорова и от нечего делать выдумывает себе разные болезни. Увольте, но случай не мой.

– Однако граф платит хорошие деньги, – заметил молодой врач нерешительно.

– Я не ради денег сделался врачом, – отрезал Гийоме, и в его голосе зазвенели новые, металлические нотки. – Я стал им, чтобы лечить людей, а не тратить время на мающихся от скуки бездельников.

– Постойте, Пьер, – вмешался Шатогерен. Из всех трех врачей он производил впечатление наиболее рассудительного и уравновешенного человека. – Нам не следует пренебрегать графом Эстергази, когда в санатории только что произошло такое.

– Не вижу связи, – сердито буркнул Гийоме.

– Связь очень простая, – спокойно отвечал Шатогерен. – Если репортеры узнают о происшедшем и раздуют скандал, что в санатории знаменитого доктора Гийоме толком не следят за больными, не исключено, нам придется обратиться к Эстергази за помощью, чтобы заткнуть рот журналистам. Ведь у него большие связи, ничуть не меньше, чем у покойного герцога Савари.

– Вы, Рене, прирожденный политик, – со вздохом промолвил доктор, опускаясь в кресло. – Но я не хочу снова ехать на его виллу. Я уже был там три раза и ровным счетом ничего нового не увидел. Мадам здорова, и оснований для беспокойства нет никаких. Но чем больше доводов я ей привожу, тем меньше она меня слушает.

– Может быть, она послушает доктора Шатогерена? – предположил Севенн с улыбкой. – С его титулом ему гораздо легче укрощать капризных дам!

– Вы преувеличиваете, Филипп, – улыбнулся Шатогерен. – Но, на худой конец, я найду у нее что-нибудь неопасное и пропишу безвредный порошок, чтобы ее успокоить.

– В самом деле, Рене, сделайте одолжение, – сказал Гийоме. – Потому что если я еще раз увижу богемскую графиню, то могу и сорваться, что вряд ли пойдет на пользу санаторию и всем нам. Передаю ее в ваши руки... А кстати, какое у вас мнение о состоянии Эдит Лоуренс? Судя по всему, у нее начало туберкулеза, но странные скачки температуры меня беспокоят...

И трое людей, каждый из которых был специалистом своего дела, погрузились в обсуждение врачебных тонкостей, недоступных пониманию большинства смертных.



## Глава 12

– Как все прошло?

Таковыми словами встретила Амалия поэта, когда он переступил порог гостиной, в которой находились почти все пациенты санатория. Эдит в углу раскладывала пасьянс, Натали стояла у окна, глядя на льющийся за ним дождь. Шарль сидел в кресле неподалеку от Амалии, Маркези уткнулся в книгу, но нет-нет да поглядывал на манипуляции Эдит. Уилмингтон и Катрин тихо переговаривались. Прочие пациенты разбились на группы. Одна из немецких дам писала очередное письмо, а отставной дипломат хмуро следил за маятником в стенных часах, словно тот нерадиво выполнял свою работу. Где-то вдали рассыпался гром, в последний раз хрустнул прямо над крышей дома и угас.

– Странное ощущение, – сознался Нередин. – Я думал, инспектор будет задавать мне разные каверзные вопросы, знаете, как всегда делают полицейские в книжках. Но он, по-моему, хотел только поскорее вернуться домой.

– А какие могут быть вопросы? – устало промолвила Натали. – Произошел несчастный случай – вот и все. Не убийство же.

Алексей поморщился.

– Я не уверен, – наконец сознался он.

– Почему? – заинтересовался офицер.

– Допустим, – принялся вслух размышлять поэт, – вы сидите в кресле, и тут вам стало дурно. Вы падаете на спинку кресла, и... и все.

– Можно и упасть с кресла, – возразила баронесса Корф, очень внимательно слушавшая поэта.

– На землю, – не стал спорить Алексей. – Но упасть со скалы можно, если только кресло стоит на самом краю. У мадам Карнавале была привычка ставить там кресло?

Натали зябко поежилась и обхватила себя руками.

– Странно, что вы про это заговорили, – внезапно сказала она. – Но я никогда не видела, чтобы старушка сидела на краю. Ей нравилось глядеть на море, но сидела она на достаточном расстоянии от обрыва.

– Откуда вы знаете? – поинтересовался Шарль.

– Я рисовала вид из окна на море несколько дней подряд, – объяснила молодая женщина. – И мадам Карнавале... А впрочем, что я говорю? Она же тоже есть на набросках, так что сейчас вы сами все увидите.

И через минуту художница принесла из своей комнаты пухлый альбом, полный самых разнообразных рисунков.

– Вот она в кресле... Это где-то с неделю назад. Видите? Теперь переверните страницу, рисунок сделали уже позже. Смотрите, где стоит кресло, – в нескольких шагах от розовых кустов.

– А ведь верно, – подал голос Шарль де Вермон, тоже разглядывавший наброски. – Я же видел мадам, когда срывал для вас розу, Амели... госпожа баронесса. Она не сидела на краю, до обрыва было шагов десять, не меньше. Странно, очень странно!

Натали нервно завела за ухо непокорную прядь. Щеки ее горели.

– А что, если она покончила с собой? – неожиданно выпалила девушка.

Алексей удивленно посмотрел на нее.

– Но почему? Мадам Карнавале выглядела абсолютно нормальной, собиралась скоро уехать из санатория...

– Она пробыла здесь не меньше месяца, – проговорила Натали, – и все время сидела за нашим столом, но я ни разу не слышала, чтобы она говорила о своих родных, не видела,

чтобы она получала письма... Хотя нет, письмо было, но совсем короткое и только однажды. По-моему, она получила его... ну да, в тот день, когда вы приехали, Алексей Иванович...

– Откуда вы знаете, что оно было короткое? – спросила Амалия.

– Я проходила мимо, когда она его читала. Мадам сразу же спрятала листок, но я и так заметила, что на нем всего три или четыре строки. – Натали робко покосилась на поэта. – По-моему, она была очень одинокая... И уже немолодая. Может быть, ей было тяжело? Но что мы можем знать о других людях?

Амалия пристально посмотрела на Натали. Странно, что человек прежде всего подмечает в окружающих или приписывает им свои черты. Натали явно чувствует себя одинокой, и поэтому она прежде всего увидела, что пожилая женщина тоже одинока. А вот если бы ее, Амалию Корф, спросили, что она думает о мадам Карнавале, она бы первым делом отметила, что та определенно умна. Даже так: умнее, чем хотела казаться...

Интересно, на основе чего у нее сложилось такое впечатление? Вроде бы мадам Карнавале ничем не выделялась среди прочих пациентов, не брала в библиотеке заумных книг, не вела серьезных разговоров и вообще, в сущности, мало чем себя проявляла... Просто любезная, вежливая, обходительная старая дама.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.